

ЦАРСКАЯ РОССИЯ И ИЮЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1830 г.

Статья А. Молока

Июльская революция 1830 г. произвела огромное впечатление далеко за пределами Франции. «Первое же известие о революционных событиях в Париже подействовало здесь, как электрический удар»,—писал 20 августа 1830 г. брюссельский корреспондент одной немецкой консервативной газеты, добавляя, что эта революция угрожает «всем тронам» и вызывает поэтому одобрение оппозиционных элементов Нидерландского королевства, «английских радикалов, а также всех недовольных в Италии, Испании и Германии»¹. Международное значение июльских событий хорошо определила и одна английская либеральная газета («Эдинбургское Обозрение»), заявившая, что дело свободы в Англии «одержало победу на поле битвы в Париже». Отмечая участие в этой битве ряда иностранных революционеров, один современник-француз писал: «Я думаю, что все народы Европы были представлены в этой победе, столь же европейской, как и французской»².

Победа, одержанная буржуазным либерализмом над дворянской и клерикальной реакцией во Франции, нанесла сильный удар зданию европейской контрреволюции, всей системе Священного союза, в основе которой лежали принципы легитимизма и господства феодальной аристократии. Ведь свергнутый французский король Карл X был, по меткому определению одной современной парижской демократической газеты, никем иным, как «вице-королем [наместником] Священного союза»³.

Вместе с реакционной системой Священного союза под ударом оказалась теперь и политическая карта Европы, скроенная реакционными венскими трактатами 1815 г.

Вслед за революцией 1830 г. во Франции и, конечно, не без влияния этого события новый подъем революционного движения обозначился и в других частях Европы. Поднялись на борьбу за свою независимость народы, закабаленные «великими державами» и их союзниками. Возобновили или усилили борьбу за политическую свободу и конституционные реформы демократы и либералы ряда стран, изнемогавших под гнетом абсолютизма, и ряда стран, управлявшихся на основе аристократической конституции. Все эти движения носили тот же классовый характер, что и Июльская революция,—все они протекали под руководством либеральной буржуазии и направлены были на создание буржуазных, в своей основе, порядков. 25 августа 1830 г.—менее, чем через месяц, после революции во Франции—в Брюсселе вспыхнула давно назревавшая революция, и началась борьба, закончившаяся отделением Бельгии от Голландии и образованием независимого Бельгийского королевства. 29 ноября того же года разгорелось восстание в Варшаве, и началась новая борьба за осво-

бождение поляков от гнета царской России. В сентябре 1830 г. произошли революционные восстания в Брауншвейге, Саксонии, Гессене, и имели место волнения в ряде других государств Германского союза, направленные на борьбу за либеральную конституцию, отмену феодальных отношений и национальное воссоединение. Следующий, 1831, год принес с собою восстания в ряде государств Италии (в герцогствах Модена и Парма, в подчиненной папе Романье), подавленные почти сразу же военной интервенцией Австрии. В том же году в Швейцарии усилилось движение за пересмотр, в сторону демократизации, конституций отдельных кантонов и конституции всего союза. В Англии все выше и выше поднималась борьба за реформу аристократической избирательной и парламентской системы, закончившаяся умеренно-либеральной реформой 7 июня 1832 г., проведение которой ускорено было французскими событиями. Эти события придали новый импульс и борьбе испанских конституционалистов, и движению венгерских и ирландских националистов.

Происшедшее в 1830 г. утверждение политического господства буржуазии во Франции не могло не укрепить и действительно укрепило позицию буржуазии и в ряде других стран, где у власти все еще стояло землевладельческое дворянство—феодалное в большей части Германии, обуржуазившееся в Англии и, отчасти, в Италии.

Если внешняя политика нового французского правительства, правительства Июльской монархии, жестоко обманула ожидания всей либеральной и демократической Европы, то иными были роль и позиция французской демократии. Июльская революция снова сделала эту последнюю ведущей силой исторического развития, снова поставила Париж—не Париж банкиров и новых царедворцев, а демократический, республиканский, плебейский, рабочий Париж—во главе международной армии прогресса. Народные кварталы французской столицы опять, как и в 1789—1794 гг., стали центром притяжения борцов за свободу во всех странах и в то же время объектом злобной ненависти реакционеров всего мира⁴.

I

С особенной ненавистью Июльская революция встречена была, понятно, правительством и правящими классами царской России, этого «жандарма Европы» и главной опоры Священного союза. Совершенно противоположным было отношение к этим событиям передовых слоев русского общества того времени. Но, пожалуй, нигде сочувственные Июльской революции голоса не звучали так робко, так глухо, как в Российской империи. Со времени разгрома движения декабристов чудовищный гнет феодально-абсолютистского и полицейско-бюрократического режима, казалось, надолго придавил здесь всякий протест, всякую оппозицию, всякое проявление свободомыслия. Значит ли это, что в николаевской России не было людей, которые сочувствовали бы новой революции во Франции? Они были, но высказывались с величайшей осторожностью или не высказывались вовсе. «Франции удалось оттолкнуть от себя руку, готовившуюся сковать ее цепями. В три дня в ней остались одни развалины от безумного деспотизма, который стремился в ней водворить Карл X»,—заносил 5 сентября 1830 г. в свой дневник молодой профессор Московского университета А. В. Никитенко, умеренный либерал, а вскоре крайний реакционер и цензор. «Что у нас говорят о сих событиях?»,—спрашивал он, с удовлетворением отмечая отголоски французских событий в других

странах (революцию в Бельгии, волнения в Испании и Португалии), и отвечал: «У нас—боятся думать вслух, но очевидно, что про себя думают много»⁵.

Что настроение широких слоев русского общества было безусловно враждебно свергнутой в июльские дни династии, это не подлежит сомнению, это вынуждены были признать и представители господствующих классов. «Начиная с людей самых незначительных, от поденщика до людей самых выдающихся, все у нас находят Карла X виновным, это—установившееся мнение»,—говорил председатель Государственного совета, граф В. П. Кочубей, императору Николаю I 14 августа 1830 г. Кочубей добавлял, что бывший французский король своими действиями (изданием ордонансов 26 июля, нарушивших конституционную хартию 1814 г.) «не только вызвал революцию, гибельную для своей династии», но вызвал «осуждение всех европейских наций», и что «при таком положении вещей» ни о каких мероприятиях в пользу Бурбонов со стороны России не может быть и речи⁶.

О том, какое сильное впечатление Июльская революция произвела на передовые слои тогдашнего русского общества, свидетельствуют показания целого ряда представителей русской либеральной и демократической интеллигенции. «Воздух освежел, все проснулись, даже и казенные студенты! Да и как еще проснулись!»—вспоминал об этом периоде В. С. Печерин, тогда вольнолюбивый студент Петербургского университета, впоследствии ревностный католик: «Словно дух святой снизошел на них! Начали говорить каким-то новым, дотоле несслыханным языком: о свободе, о правах человека, и пр., и пр. Да чего уж тут ни говорили! Даже Николаю приписывали либеральные стремления! Рассказывали, что, когда пришло известие о падении Карла X, государь позвал наследника и сказал ему: «Вот тебе, мой сын, урок! Ты видишь теперь, как наказываются цари, нарушающие свою присягу». И мы этому добродушно верили. Sancta simplicitas! [Святая простота!] С тех пор я более уже не засыпал»⁷.

Революция 1830 г. во Франции и вспыхнувшее вслед за тем польское восстание нашли, как рассказывает в своих воспоминаниях А. И. Герцен, живой отклик и в стенах Московского университета. «Славное было время, события неслись быстро,—писал он потом об этих годах.—Какое-то горячее, революционное дуновение началось в прениях, в литературе... Мы следили шаг за шагом за каждым словом, за каждым событием, за смелыми вопросами и резкими ответами; мы не только подробно знали, но горячо любили всех тогдашних деятелей, разумеется радикальных, и хранили у себя их портреты... Срежь этого разгара вдруг, как бомба, разорвавшаяся возле, оглушила нас весть о варшавском восстании. Это уже не далеко, это—дома, и мы смотрели друг на друга со слезами на глазах, повторяя любимое: «Nein! Es sind keine leere Traüme» [«Нет, это уже не пустые мечты»]. «Что мы собственно проповедывали, трудно сказать,—добавляет Герцен.—Идеи были смутны: мы проповедывали французскую революцию, потом проповедывали сен-симонизм и ту же революцию, мы проповедывали конституцию и республику. Чтение политических книг и сосредоточение сил в одном обществе. Но пуще всего проповедывали ненависть ко всякому насилию, ко всякому произволу»⁸.

Аресты и ссылка положили вскоре конец пропаганде, которую вели окрыленные революционными событиями 1830 г. студенты Московского университета во главе с Герценом и его другом Огаревым.

Не остались равнодушными к тому, что произошло во Франции, и умеренно-либеральные круги тогдашнего русского общества. Глазами этих кругов смотрел на французские события А. С. Пушкин. По свидетельству близко его знавших людей, гениальный поэт горячо переживал эти события и открыто радовался им. Родственник его лицейского товарища и друга, писателя барона Дельвига, рассказывает в своих воспоминаниях: «Лето 1830 г. Дельвиги жили на берегу Невы, у самого Крестовского перевоза. У них было постоянно много посетителей. Французская июльская революция тогда всех занимала, а так как о ней ничего не печатали, то единственным средством узнать что-либо было посещение знати. Пушкин, большой охотник до этих посещений, но постоянно от них удерживаемый Дельвигом, которого он во многом слушался, получил по вышеозначенной причине дозволение посещать знать хотя ежедневно и привозить вести о ходе дел в Париже. Нечего и говорить, что Пушкин пользовался этим дозволением и был постоянно весел, как говорят, в своей тарелке. Посетивши те дома, где могли знать о ходе означенных дел, он почти каждый день бывал у Дельвигов, у которых проводил по несколько часов»⁹.

18 августа 1830 г. П. А. Вяземский заносил в свою записную книжку: «У меня были два спора прежарких с Ж[уковским] и П[ушкиным]. С первым — за Бордо [герцога Бордосского, внука Карла X] и Орлеанского [герцога Орлеанского]. Он говорил, что должно непременно избрать Бордо королем и что он верно избран и будет. Я возражал, что именно не должно и не будет. *Si un dîner rechauffé ne valut jamais rien, une dynastie rechauffée vaut encore moins* [«Если разогретый обед ничего не стоит, то разогретая династия стоит и того меньше»]. В письме Карамзиным объяснял я и расплодил эту мысль. С Пушкиным спорили мы о Пероне [Пейронне, бывшем министре Карла X]. Он говорил, что его должно предать смерти и что он будет предан «*pour crime de haute trahison*» [«за преступление государственной измены»]. Я утверждал, что не должно и не можно предать ни его, ни других министров, потому что закон ответственности министров заключался доселе в одном правиле, а еще не положен и, следовательно, применен быть не может. Существовал бы точно этот закон, и всей передраги не было бы, ибо не нашлось бы ни одного министра для подписания знаменитых указов [ордонансов 26 июля]. Утверждал я, что и не будет он предан [смерти], ибо победители должны быть и будут великодушны... Мы побились с П[ушкиным] о бутылке шампанского»¹⁰.

Живой интерес к политическим событиям во Франции Пушкин продолжал проявлять и в Москве, куда он вскоре затем выехал. 2 сентября (21 августа ст. ст.) 1830 г. поэт писал из Москвы своей приятельнице, Е. М. Хитрово: «Как я вам признателен за ту доброту, с которою вы посвящаете меня в европейские события! Здесь никто не получает французских газет, и в области политических мнений оценка всего происшедшего сводится к мнению Английского клуба, решившего, что князь Дмитрий Голицын был неправ, запретив ордонансом экарте». Речь шла о запрещении московским генерал-губернатором князем Д. В. Голицыным карточной азартной игры в «Английском клубе», этом центре, где постоянно встречались консервативно настроенные представители московской знати и так называемого образованного общества. Пародическим названием распоряжения Голицына («ордонанс» — по аналогии с ордонансами Полиньяка) Пушкин еще раз подчеркивает свое насмешливое отношение к этому учреж-

дению, которому он посвятил несколько иронических строк в «Путешествии Евгения Онегина»¹¹. «И среди этих-то орангутангов я принужден жить в самое интересное время нашего века!»¹²— с горечью восклицает поэт по поводу убожества политической жизни Москвы да и всей страны.

Но интерес Пушкина к Июльской революции не приводил его к полной солидарности с происшедшим во Франции политическим переворотом. В том же письме к Хитрово поэт заявляет, что ему «смертельно хочется прочесть речь Шатобриана в защиту герцога Бордосского», и с уважением отзывается об этом легитимистском выступлении французского писателя. Поэт не скрывает своего отрицательного отношения к сторонникам республики. «Те, которые ее хотели, — пишет он, — ускорили коронацию



ИЮЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1830 г. В ПАРИЖЕ. НА ИТАЛЬЯНСКОМ БУЛЬВАРЕ

Современная литография Виктора Адама

Музей изобразительных искусств, Москва

Луи-Филиппа; он обязан им дать места камергеров и пенсии». К самому Луи-Филиппу и его окружению Пушкин относится, как видно из того же письма, достаточно иронически: «Брак госпожи де Жанлис [французская писательница XVIII в., воспитательница Луи-Филиппа] с Лафайетом [один из главных деятелей июльского переворота] был бы вполне уместен. А венчать их должен был бы епископ Талейран [бывший министр Наполеона, а затем Людовика XVIII, сыграл не последнюю роль в выдвижении Луи-Филиппа]. Таким образом, революция была бы завершена»¹³.

П. А. Вяземский, как и Пушкин, резко осуждал Полиньяка. «Что может быть нелепее le Rapport au Roi [доклада королю] 25 июля?» — восклицает Вяземский 4 августа, ознакомившись с ордонансами Полиньяка и «обосновывавшим» их докладом министерства Карлу X: «О печатании везде говорится тут, как о каком-то существе, забывая, что оно орудие. Разве одна оппозиция выдает журналы? И министерство

имеет свои. Если оппозиционные более действуют на мнение, то доказательство неопровержимое, что министерство не симпатизируется с мнением. Таким образом можно и о даре слова [сказать], *qu'il est dans sa nature de n'être qu'un instrument de désordre et de sédition* [что он по природе своей только орудие смуты и мятежа]. При Нероне язык был орудием проклятий, при Тите орудием благословения»¹⁴.

22 августа П. А. Вяземский снова обращается в своем дневнике к Июльской революции. Изложив мнение, высказанное ему по этому вопросу великим князем Михаилом Павловичем, заявившим, что, хотя Карл X и повинен в нарушении хартии, которую он поклялся соблюдать, все происшедшее затем «отвратительно», ибо отдает «якобинизмом», Вяземский продолжает: «Вообще трудно судить заранее об этих происшествиях. Если все обдержится, усядется и укоренится, то, разумеется, революция эта будет прекрасною страницей в истории Парижа, но можно ли надеяться на прочность содеянного? *Est-ce une grande pensée qui est venue du cœur?* [«Лежит ли в основе этого какая-нибудь великая, идущая от сердца мысль?»]. Тогда хорошо, но если тут одно личное честолюбие, то прока не будет. Впрочем, о многом и превратно судят: например, ужасаются трехцветной кокарде, забывая, что она знаменье не одной гильотины, а двадцатилетней славы, двадцатилетнего имперского господства Франции в Европе. Как французам отказаться от этого достоинства из угождения Бурбонам, которые доказали не раз, что они не умеют царствовать? Доселе все случившееся, за исключением нескольких театральных выходов Орлеанского, законно и свято, если святы права народа, искупившего их своею кровью и бедствиями разнородными; но по мне Орлеанский что-то ненадежен. Он не герой этой революции, а актер ее, следовательно, силою обстоятельств вынужден играть и другую роль или пересолить нынешнюю; а, может быть, и лучше, что в этой драме нет героя, *pourvu qu'il y aie de l'ensemble* [«лишь бы в ней было необходимое единство»]. Революции на одно лицо суть революции классические: эта шакепировская»¹⁵.

Скептическое отношение к личности «короля баррикад», сквозящее в этих рассуждениях Вяземского и столь сильно напоминающее приведенные выше критические замечания Пушкина о Луи-Филиппе, характерно почти для всех представителей тогдашнего европейского либерализма и радикализма. Но, как бы малопривлекательна ни была филистерская фигура «короля-гражданина», она не могла все же заслонить в их глазах героических бойцов июльских дней, не могла помешать прославлению их подвигов. Из русских поэтов того времени революцию 1830 г. воспел тогда еще почти никому не известный 16-летний М. Ю. Лермонтов. Он посвятил этому событию следующее стихотворение:

30 ИЮЛЯ.—(ПАРИЖ) 1830 г.

Ты мог быть лучшим королем,
Ты не хотел.—Ты полагал
Народ унижить под ярмом,
Но ты французов не узнал!
Есть суд земной и для царей,
Провозгласил он твой конец;
С дрожащей головы твоей
Ты в бегстве уронил венец.

И загорелся страшный бой;
 И знамя вольности как дух
 Идет пред гордою толпой,
 И звук один наполнил слух;
 И брызнула в Париже кровь.
 О, чем заплатишь ты, тиран,
 За эту праведную кровь,
 За кровь людей, за кровь граждан?

Когда последняя труба
 Разрежет звуком синий свод,
 Когда откроются гроба,
 И прах свой прежний вид возьмет;
 Когда появятся весы,
 И их подымет судия...
 Не встанут у тебя власы?
 Не задрожит рука твоя?..

Глупец! Что будешь ты в тот день,
 Коль ныне стыд уж над тобой?—
 Предмет насмешек ада, тень,
 Призрак, обманутый судьбой!
 Бессмертной раною убит,
 Ты обернешь молящий взгляд
 И строй кровавый закричит:
 «Он виноват! Он виноват!»¹⁶.

Стихи эти, при всей своей юношеской наивности содержавшие явное прославление Июльской революции и осуждение Карла X, смогли быть напечатаны только много лет спустя после смерти поэта, в 1883 г.

Современная поэту цензура, конечно, не пропустила бы в печать подобное произведение. Показательна в этом отношении судьба «Литературной Газеты», закрытой за одно лишь помещенное в ней (в номере от 28 октября 1830 г.) четверостишие французского поэта Казимира Делавиня, прославлявшего убитых бойцов Июльской революции¹⁷. Цензор Семенов, пропустивший это стихотворение и тщетно оправдывавшийся потом тем, что он никак не мог предположить, «чтобы сии стихи могли сколько-нибудь быть применены к России, которая, блаженствуя под скипетром мудрого монарха, находится в совершенно других отношениях, нежели Франция», получил строгий выговор. Редактор-издатель «Литературной Газеты», А. А. Дельвиг, был вызван к Бенкендорфу, который обошелся с ним крайне грубо и грозил упрятать его и его двух соредакторов, Пушкина и Вяземского, в Сибирь. Правда, позже газета снова получила возможность выходить, но Дельвиг к ее редактированию допущен не был.

Так подавлялись правительством Николая I малейшие проявления сочувствия революционным событиям 1830 г. во Франции и в других странах, замечавшиеся в тех или иных слоях русского общества. А потрясены были этими событиями все—в частности, и те представители тогдашней русской литературной общественности, которые стояли в лагере реакции и потому резко-отрицательно относились к происшедшему. Особенно рельефно выразил овладевшую ими тревогу В. А. Жуковский. 6 февраля 1831 г. он писал одной своей приятельнице: «Сержусь на свет,

который в пять месяцев оборотился вверх дном, проклиная абсолютистов, которых безумие всему причиною, и еще более проклиная анархистов, которые, сменив первых, хотят на место худого построить худшее; смотрю на будущее, не знаю, что будет, но уверен, что правитель верховный не дремлет и, наконец, сделает по своему»¹⁸.

II

Ни одно иностранное правительство не отнеслось к Июльской революции так враждебно, как правительство царской России. 11 августа (30 июля ст. ст.), по получении в Петербурге первых известий о событиях во Франции, Николай I вызвал к себе французского поверенного в делах, барона Бургуэна (посол, герцог Мортемар, находился в это время во Франции), и встретил его словами: «Какое ужасное несчастье!». Затем он засыпал его вопросами, чем все это кончится, что случится, если Карл X будет низвергнут, кто займет его место, и не будет ли провозглашена республика. Бургуэн, не имевший в тот момент никакой связи с Парижем, отвечал, что он «блуждает во тьме хаоса». Император высказал ряд предположений и выразил надежду на то, что династия Бурбонов останется на троне если не в лице самого Карла X, то хотя бы его сына или внука. «Будем надеяться,—заметил он,—что, по крайней мере, будет спасено монархическое начало» и, отпуская Бургуэна, добавил: «Какие молодцы ваши гренадеры королевской гвардии! Я желал бы воздвигнуть золотую статую каждому из них»¹⁹.

О том, как потрясены и возмущены были революцией во Франции члены царской семьи, свидетельствует переписка между Николаем I и в. к. Константином, заместителем императора в Царстве польском. 14 августа Константин писал Николаю: «Как бы виновно ни было министерство Полиньяка в непредусмотрительности, в легкомыслии и самоуверенности, которых я ему не прощу, оно не могло позволить целому народу восстать таким недостойным образом, как это сделал народ Парижа, а стало быть, и всей Франции, которую он ведет за собой. Поведение герцога Орлеанского есть поведение человека более чем презренного в моих глазах; поведение остальных—это поведение людей, которые всегда вели себя подло и гнусно. Эти люди были у наших ног, мы их держали в своих руках [в 1814 и 1815 гг.], мы поступили с ними великодушно [?!—А. М.], а они вместо благодарности отвечают вам самым насильственным восстанием. Великодушие для них—это слово, лишённое смысла, их можно сдерживать только страхом... Итак, мои мрачные предвидения оправдались; начинается новая эра, и мы отброшены на сорок один год назад. Сколько трудов, сколько крови, сколько сил потрачено зря, только для того, чтобы привести к торжеству принципов, которые составляют основу принципов наших врагов!»²⁰.

17 августа Николай I, возвратившись в Петербург из поездки в Финляндию, получил известия, не оставлявшие никаких сомнений в том, что революция во Франции победила и старая династия низложена. Известия эти привели императора в состояние близкое к бешенству. Французскому поверенному в делах предложено было тотчас же оставить Петербург, граф Поццо ди Борго получил приказ немедленно оставить Париж со всем персоналом русского посольства, всем находящимся во Франции русским подданным предписано было выехать из нее, пребывающим в России французским гражданам запрещены были ношение трех-

цветных повязок и кокард и разговоры в присутствии русских о событиях в своей стране, въезд в Россию лиц французского гражданства был временно запрещен. Французские газеты, даже ультрамонархические, были почти совершенно воспрещены в России, из русских газет известия о политических событиях во Франции могли теперь печатать только две самые консервативные—«Северная Пчела» и «Сын Отечества», да и то лишь с разрешения цензора. Кронштадтский военный губернатор вице-адмирал Рожнов получил 5/17 августа следующее приказание: «По случаю возникшего во Франции мятежа и перемены существовавшего правительства, государь император высочайше повелеть соизволил ни под каким видом не допускать кораблям сей нации, плавающим под флагом трехцветным, а не белым, вход в Кронштадтский порт, но если бы усиливались войти в оный, то останавливать их действием оружия. Е. и. в. равномерно благоугодно, чтобы всякий корабль французский, из оставшихся ныне в Кронштадтском порте, который бы переменял белый флаг на трехцветный, немедленно был выслан в море. Сообщая в. п. высочайшую волю сию к неперемennomу и строгому исполнению, имею честь присовокупить, что вместе с сим уведомляю об оной г. начальника морского штаба е. в.»²¹.

Принимая подобные меры, Николай I демонстрировал не только свою ненависть к Июльской революции, но и свой страх перед влиянием, которое она могла оказать на оппозиционно настроенные элементы русского общества. Ни сам царь, ни большинство его приближенных не разделяли оптимизма княгини Д. Х. Ливен, жены русского посла в Лондоне, писавшей своему брату, графу А. Х. Бенкендорфу: «Мы имеем, к счастью, много причин, обеспечивающих нам безопасность. Во-первых, наша отдаленность, затем сравнительное невежество низшего класса, врожденная нам религиозность и преданность престолу, а самое главное, мы имеем монарха просвещенного, справедливого и, вместе с тем, строгого и деятельного душой и телом, умеющего заставить бояться и, в то же время, любить себя. Поэтому я не боюсь за нас, но мы составляем часть Европы и связаны трактатами,—не будем ли мы поэтому вовлечены в движение, нарушающее покой Европы?»²².

Узнав, что два торговых судна под трехцветным флагом не были допущены в Кронштадт и что русское правительство решило прервать дипломатические сношения с Францией, поверенный в делах этой последней поспешил во дворец, чтобы попытаться переубедить Николая. Ему удалось добиться аудиенции в тот же вечер.

«Когда я вошел,—рассказывает Бургуэн,—император встретил меня на самом пороге и, став предо мною, произнес мрачным, но резко отчетливым голосом следующие слова: «Ну что, имеете ли вы известия от вашего правительства, от господина наместника королевства? Вы уже знаете, что я не признаю никакого другого порядка вещей, кроме прежнего, и считаю его единственно законным, потому что он основан на легитимной монархии». «Признаюсь, государь,—отвечал французский дипломат,—я крайне удивлен, что в. в. смотрите так на вопрос, отныне бесповоротно решенный моим отечеством, которое всегда умело отстаивать то, что делало». «Да, таков образ моих мыслей: принцип легитимизма, вот что будет руководить мною во всех случаях»,—заявил Николай и, сильно ударив рукою по стоявшему возле него столу, воскликнул: «Никогда, никогда не смогу я признать то, что случилось во Франции!». «Государь,—возражал Бургуэн,—нельзя говорить н и к о г д а; в наше время слово это

не должно произноситься; самое упорное сопротивление уступает силе событий». Он указал на то, что разрыв дипломатических отношений между Россией и Францией неминуемо приведет к войне, что это будет война европейского масштаба и что ее исход может оказаться роковым для новой антифранцузской коалиции. «Мы — уже не истощенная Франция 1814 г., а вы — уже не объединенная Европа 1815 г.», — заявил Бургуэн и добавил, что если Россия займет враждебную Франции позицию, то последняя сблизится с Англией. «Я не питаю никакой вражды к Франции, это ведомо богу, — отвечал Николай, — но я ненавижу принципы, которые ослепляют вас». Из всех аргументов Бургуэна наибольшее впечатление произвело на царя заявление французского дипломата о том, что, в случае образования новой коалиции против Франции, последняя будет до последней капли крови защищать свою независимость и обратится за помощью к другим народам.

«Император постепенно успокоился, — рассказывает Бургуэн. — Он стал обсуждать важнейшие статьи новой конституции, заменившей собой хартию 1814 г. Он критиковал, со своей точки зрения, главные статьи, и наш разговор, вначале столь бурный, принял тон теоретического рассуждения»²³. Легко себе представить, какие «теории» развивал при этом русский «самодержец»!

Разрыва дипломатических отношений удалось все же избежать. Бургуэн остался в Петербурге и, чтобы угодить Николаю, временно продолжал вместе со всеми чинами посольства носить белую кокарду. Приказ о недопущении в порты империи французских судов под трехцветным флагом был отменен — под предлогом, что правительство наместника королевства «утверждено» Карлом X.

На следующий день после разговора с Бургуэном император Николай писал в. к. Константину, что, ввиду отречения Карла X и герцога Ангулемского, единственным «законным» королем Франции является в его (Николая) глазах герцог Бордосский, а «герцог Орлеанский всегда будет только гнусным узурпатором».

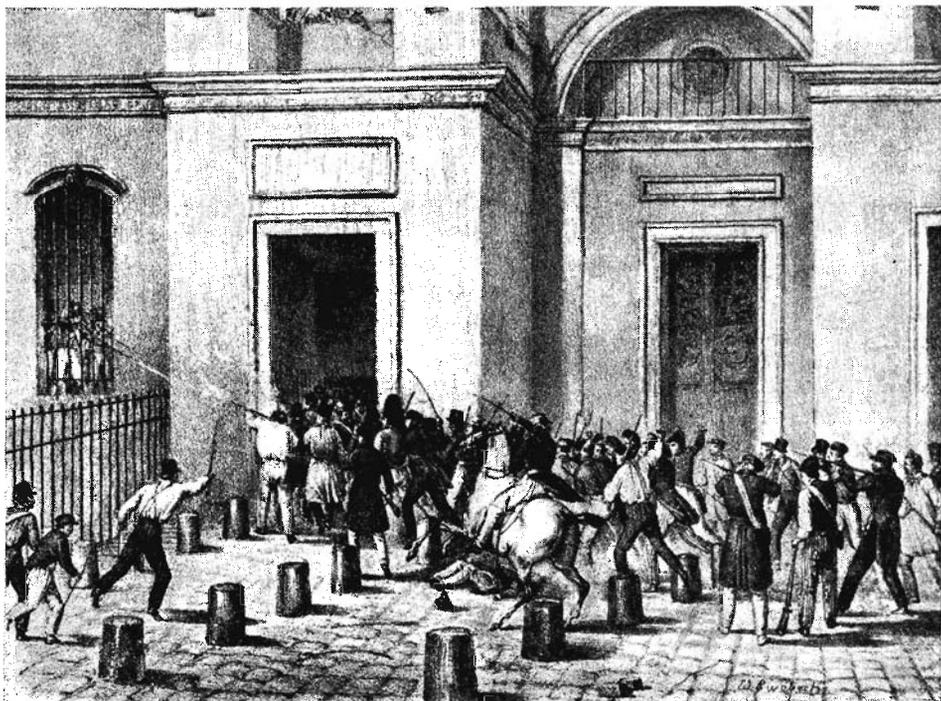
При всем своем отвращении к Июльской революции русский император не мог, однако, скрыть своего раздражения по поводу действий Карла X, вызвавших «это ужасное потрясение». «Не прошло еще и месяца с того дня, как король заверил меня своим честным словом, что он никогда не позволит себе принять какие-либо незаконные меры»²⁴, — писал своему брату Николай. «Самое печальное во всей этой катастрофе, — добавлял он, — это, помимо необъяснимого безумия короля и его гнусных советников²⁵, удручающая трусость поведения его и дофина. Благородная верность гвардии требовала того, чтобы ее государь или, за его отсутствием, наследник престола стоял во главе ее; все еще могло, пожалуй, измениться, если бы гвардия увидела их перед собою, но вместо этого они попусту послали этих несчастных на убой, даже не подумав о том, чтобы сделать им борьбу посильной, а сами уклонились от нее».

Переходя к вопросу о том, какова должна быть политика России ввиду Июльской революции, Николай заявлял, что, пока революция ограничивается пределами Франции, он не намерен вмешиваться в ее внутренние дела, что его оппозиция к происшедшему в ней перевороту «будет только м о р а л ь н о й». «Но если, — добавлял он, — революционная Франция захочет вернуть себе свои прежние границы, это совершенно изменит наши обязанности: трактаты укажут каждому из нас его роль, и дело

должно будет решиться с мечом в руках, от чего да избавит нас бог». Сообщая Константину о принятых им мерах военного и политического порядка (о прекращении отпусков для военнослужащих, об организации «тщательнейшего наблюдения за настроением умов»), Николай признавался, что боится «нового взрыва в Бельгии, а затем, возможно, в Италии и Испании», не скрывал и того, что боится поляков: «Прошу вас постоянно держать меня в курсе того, что вы узнаете о нашей польской публике; доведут ли они свое восхищение всем, что исходит из Парижа, до того, что найдут восхитительным происшедшие в нем только-что события?». Рекомендуя брату приостановить отпуска из армии, расположенной в Царстве польском, Николай просил его сообщить ему, «предварительно и по секрету», свои соображения по поводу приведения в боевую готовность этой армии. «Если бы нам пришлось выступить в поход,—писал царь,—я рассчитываю двинуть вперед вашу армию, 1-й корпус, гренадер, гвардию, 1-й, 3-й и 5-й корпуса резервной кавалерии. 2-й корпус выступит, как только его организация будет закончена»²⁶.

Итак, уже в первом письме к Константину, написанном после Июльской революции, Николай I обсуждал вопрос о военной интервенции против Франции.

Великий князь оказался осторожнее и дальновиднее своего брата, императора. «Я должен вам откровенно сказать,—отвечал он 24/12 августа,—что недопущение французских судов под трехцветным флагом равносильно, с моей точки зрения, объявлению войны. Я еще не знаю, какие решения приняты Пруссией, Нидерландами, Австрией. Если они посту-



ИЮЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1830 г. В ПАРИЖЕ. ВЗЯТИЕ ЛУВРА
Литография Эд. Свебаха, 1830 г.

Музей изобразительных искусств, Москва

пят так же,—война налицо, но я не думаю, чтобы в интересах этих держав было вести ее в настоящий момент, если принять во внимание, что первые операции французов приведут их в Бельгию и в рейнские провинции Пруссии, очень мало надежные, особенно в отношении их военной организации. С другой стороны, если эти державы признают трехцветный флаг, Франция скажет им: «Как это так: вы нас признаёте, а ваш союзник не признаёт нас? Выбирайте между нами и Россией или порвите с нами или с нею». Решение, принятое царем, «неблагоразумно и произведет,—указывает Константин,—совершенно противоположное впечатление на тех, против кого оно направлено». «Французские революционеры,—предостерегает своего брата великий князь,—воспользуются тем, чтобы оживить национальный дух, перед которым партийные страсти отступят тогда на задний план». «Не забывайте,—поучает он Николая,—любимую поговорку нашего покойного незабвенного императора: десять раз примерь, раз отрежь, к чему я добавлю: еду мимо—не свищу, а заеду—не спущу». Считая интервенцию против Франции делом опасным и несвоевременным, великий князь ставит ставку на разложение этой страны в результате внутренних раздоров. «Откровенно признаюсь,—пишет он,—что я желаю и горячо жажду для Франции такой гражданской войны, которая бы их подточила и разорила сверху донизу, ибо я утверждаю, вместе с поговорками, что собаки с жиру бесятся, и которая собака лает, та не укусит»²⁷.

Как видим, великий князь не уступал царю в лютой ненависти к народу, дерзнувшему свергнуть своего «законного» повелителя. Но, находясь в Варшаве, Константин Романов лучше понимал трудности международной обстановки и яснее отдавал себе отчет в действительном соотношении сил, нежели его брат Николай. На вопрос последнего о состоянии армии, расположенной в Царстве польском, наместник отвечал, что она к войне не готова, что потребуется, по крайней мере, три месяца для приведения частей в боевую готовность.

Новые, притом весьма важные, аргументы против интервенции во Францию великий князь приводит в письме, датированном 13/25 августа. «Я сильно сомневаюсь,—пишет он,—чтобы в случае вторичного европейского крестового похода против Франции, подобного тому, который имел место в 1813, 1814 и 1815 гг., мы встретили то же рвение и тот же энтузиазм к правому делу. С тех пор осталось столько неисполненных или же обойденных обещаний, накопилось столько погранных интересов. Чтобы сокрушить тиранию Бонапарта, тяготевшую над континентом, повсюду пользовались средствами народной борьбы и не предвидели, что рано или поздно то же оружие могут повернуть против нас самих». Относительно поляков наместник писал: «До сих пор у нас все спокойно, и я лщу себя надеждой, что, с помощью божьей, так останется и далее». За вычетом «расы судей и адвокатов, профессоров и студентов» наместник считал возможным ручаться за верность престолу всего остального населения Царства польского. Июльская революция должна была, по его словам, произвести самое отрицательное впечатление на польскую аристократию: «Эти господа увидят по чистке палаты пэров во Франции, что их ожидает, если бы существующий порядок был опрокинут»²⁸.

«Мы вовсе не торопимся действовать,—отвечал Николай (в письме от 17 августа),—но мне кажется, что в отношении н е п р е л о ж н ы х,

с в я щ е н н ы х п р и н ц и п о в никогда не следует оставлять места сомнениям; но не изложить открыто наших взглядов на узурпацию герцога Орлеанского—значило бы поступить как раз таким образом». «Так как,—продолжает Николай,—законный, с нашей точки зрения, король Генрих V увезен своим дедом из пределов Франции, то он фактически эмигрировал и бросил свою страну. Но эта страна не может оставаться без главы, а за неимением его должна впасть в состояние самой ужасной анархии». Поэтому не остается ничего другого, как признать французским королем герцога Орлеанского, тем более, что это ближайший к трону член королевской семьи²⁹. Таков вывод, к которому приходит царь.

Таким же образом рассуждал и русский посол в Париже, Поццо ди Борго: «Монархический принцип, спасенный среди этого кораблекрушения, каким бы незаконным и ослабленным он ни был после потери отнятых у него атрибутов власти, представляет собой все же крупную гарантию порядка по сравнению с тем, что произошло бы, если бы была провозглашена республика. Не признать этого—значило бы уничтожить его [монархический принцип], ибо, если вспыхнет война, к власти придет республиканизм со всеми ужасами, которые ему сопутствуют». Яснее выразиться было трудно. При всем своем отвращении к новому режиму, установившемуся во Франции после Июльской революции, царский дипломат убеждал свое петербургское начальство не давать французским республиканцам—«партии, которая хочет все уничтожить, предлога для уничтожения хотя бы тени власти, остатков монархических форм, которые еще могут быть сохранены»³⁰. «Надо,—доказывал Поццо ди Борго,—вступить в дипломатические сношения с новым правительством, поскольку у нас нет выбора и поскольку оно, при всей незаконности своего происхождения, не является по своей природе несовместимым с существованием всех других правительств; но, выполнив эту формальность, надо стать на защиту существующих трактатов, дабы остановить его [новое французское правительство] в его предприятиях и приготовиться к борьбе с ним в случае, если оно предпримет такие шаги, которые сделают сопротивление справедливым и необходимым»³¹.

Так обосновывал предлагаемую им политическую тактику—тактику «меньшего зла» («узурпация» герцога Орлеанского все же лучше, чем республика)—царский посол в Париже. К этой тактике начинал склоняться и сам Николай I. В разговоре с английским послом, лордом Гейтсбери, он заявил, что, хотя герцог Орлеанский всегда будет для него только узурпатором, он не собирается, однако, вмешиваться во внутренние дела Франции. При этом он подчеркнул, что отказывается от военной интервенции не потому, что не верит в ее успех, а совсем по другим причинам. «Что можно сделать с этой великой и сплоченной нацией в случае, если мы даже и дойдем еще раз до Парижа?—спрашивал царь.—Возможно ли, а если и возможно, то благоразумно ли, восстанавливать эти слабые существа [династию Бурбонов], упавшие с того места, на которое мы их однажды поставили, и которые снова упали бы с него, как только наши армии ушли бы домой»³².

Знаменательное признание беспочвенности легитимной монархии и дворянской реакции во Франции русским «самодержцем», вернейшим союзником этой реакции!

Граф Кочубей следующим образом резюмировал то, что он услышал от Николая I во время своего разговора с ним 14 августа 1830 г.:

«1. Прежде всего, попытаются притти к соглашению с союзниками по поводу тех мер, какие надо будет принять в том или другом случае.

2. Разрыва с Францией не будет. Император признаёт герцога Орлеанского наместником, признаёт его даже и королем, если его признают другие державы, но он сделает это последним.

3. Он не предпримет ничего враждебного против Франции, но если эта последняя нападет на одного из своих соседей, е. в. сейчас же объявит войну и выступит в поход с 200-тысячной армией.

4. Порицая поведение Карла X, император несколько раз с негодованием и горячностью высказывался по поводу вероломства этого государя. С такой же горячностью он утверждал, что государи должны всегда держать свои клятвы и поддерживать свою честь»³³.

Кочубей был решительным противником интервенции—впрочем, отнюдь не из сочувствия к происшедшей во Франции революции, а из соображений вполне консервативных. «Не нужно,—говорил он Николаю,—закрывать глаза на то, что мы живем в век, когда общественное мнение имеет колоссальное значение; что в тот век, когда цивилизация достигла такого прогресса, невозможно остановить рост идей или, во всяком случае, невозможно дать им другое направление иначе, чем с помощью величайшей мудрости и большой осторожности правительства; что поведение Карла X принесло в этом отношении большое зло другим странам,—оно даст людям, неустойчивым в своих мнениях, беспокойным умам, людям с дурными намерениями средства поддержать свои взгляды. Король стал клятвопреступником, это он нарушил закон; этот пример всегда будут выдвигать вперед. Будут говорить, что, если бы частный человек так поступил, он был бы обесчещен, в некоторых случаях подвергся бы наказанию. А короли нарушают закон, присягу, когда это им удобно, следовательно, им нельзя верить». Кочубей добавлял, что при создавшихся условиях, когда Бурбоны восстановили против себя все нации и, в частности, все население России, ни о каком выступлении в пользу свергнутой династии не может быть и речи. Настаивая на необходимости предварительного соглашения России с другими европейскими державами, он указывал на то, что энтузиазм, вызванный в Англии Июльской революцией, «так велик, что едва ли она пожелает войти в какую-нибудь комбинацию враждебную Франции»; что «в Австрии финансы в таком плачевном состоянии и сама она так плохо управляется, что ей трудно предпринять войну без английской поддержки»; что, наконец, Пруссия «разве в самой последней крайности решится взяться за оружие».

«Конечно, я войду в соглашение с союзниками»,—отвечал император. Сказав несколько слов «о неустойчивом положении Австрии со стороны Италии, о том, что в Нидерландах скорее всего может произойти потрясение», он добавил, что если другие державы признают «Филиппа VII», то и Россия должна будет поступить точно так же³⁴.

III

Итак, прежде чем решиться на признание того, кого он продолжал считать и называть узурпатором, Николай I решил позондировать почву в Берлине и Вене, выяснить точку зрения своих союзников—прусского короля и австрийского императора—и склонить их к выработке плана

совместных действий на случай войны с Францией. С этой целью 28/16 августа в Вену выехал чрезвычайный посол русского императора, генерал-адъютант граф Алексей Федорович Орлов, а 31/19-го с подобным же поручением отправился в Берлин фельдмаршал граф И. И. Дибич-Забалканский.

Отпрыск немецких феодальных баронов, ярый реакционер и крепостник, мечтавший о том, чтобы «поднять дворянство, истинное дворянство, старое дворянство» и образовать из него замкнутую, привилегированную военную касту, которая должна была бы «оградить» Россию на все времена от тлетворного влияния либеральных идей, Дибич был решительным сторонником военной интервенции против Франции с целью восстановления в ней «законной» династии Бурбонов. Никакие затруднения не останавливали фельдмаршала, пользовавшегося исключительным доверием Николая I. На замечание Кочубея, что такого рода война потребует колоссальных расходов, Дибич отвечал, что денег хватит за- глаза, что у министра финансов есть сто двадцать миллионов рублей. Он заявлял, что «нет необходимости платить войскам серебром, что совершенно достаточно уплачивать двойной оклад бумажными деньгами...», что, кроме того, достаточно войти в соглашение с пруссаками и с другими государствами, по которым войска будут проходить, о получении всего, что необходимо для армии, уплачивая за все бонами, которые будут потом ликвидированы каким-нибудь способом»; «когда войска войдут во Францию,—добавлял фельдмаршал,—в чем я не сомневаюсь, так же как и в том, что мы победим французов, мы наложим на них крупные контрибуции, которые с избытком оплатят военные расходы, и принудим их подчиниться правительству, которое сможет дать гарантии на будущее». «Но какому же правительству?—спрашивал Кочубей.—Правительству Бурбонов? Разве на них можно положиться? Какие же могут быть гарантии, что они снова не вызовут новых потрясений?». «Я не настаиваю,—отвечал маршал,—что нужно во что бы то ни стало восстановить на престоле Карла X или даже дофина, но почему не посадить герцога Бордосского, почему ему не быть королем с твердыми монархическими учреждениями? А что касается гарантий, стоит только оставить во Франции сто тысяч русских, и тогда видно будет, будут ли уважаться эти учреждения»³⁵.

Так просто и прямолинейно «решал» граф Дибич вопрос о новой интервенции против Франции и о новой реставрации ненавистных ей Бурбонов. Столь же легко «разрешал» этот царский генерал и другие вопросы международной дипломатии. На замечание Кочубея, что следует опасаться сближения между Францией и Англией, Дибич возражал, что такое сближение исключено, так как завоевание Алжира вконец рассорило эти страны.

В основу переговоров, которые Дибич должен был вести в Берлине, положена была составленная им и одобренная императором Николаем записка следующего содержания: «Е. в. император,—так начинался этот документ,—ввиду настоящих обстоятельств, считает делом крайней важности притти по всем вопросам к возможно более точному соглашению со своим августейшим тестем и определить как тот образ действий, которого следует держаться в нынешний момент, так и те меры, которые надлежит принять на будущее время». Далее Николай заявлял, что может признать Луи-Филиппа лишь наместником королевства, притом только на время малолетства внука Карла X: «Не иначе, как в этом лишь качестве намест-

ника Генриха V, его величество может считать власть герцога Орлеанского законной властью, и он никогда не изменит своего глубокого убеждения в том, что герцог Бордосский является единственным законным королем Франции и что только после его смерти или личного отречения от престола герцог Орлеанский становится законным королем». Но, отказываясь признать Луи-Филиппа французским королем, русский император объявлял, вместе с тем, немедленное вмешательство во внутренние дела Франции нежелательным, во-первых, потому, что «Карл X сам первый нарушил конституцию, дарованную им под охраною союзных дворов, и этим лишил себя права требовать их помощи», во-вторых, потому, что «вторжение во Францию, не вызванное агрессивными действиями нынешнего ее правительства, было бы, вероятно, принято всем французским народом, как проявление честолобивых замыслов, направленных к ослаблению его родины, и если бы даже успехи союзников доставили им победу в этой войне, которая приняла бы, по всем вероятностям, национальный характер, то было бы все же крайне трудно определить потом судьбы Франции, поскольку герцог Бордосский очень молод и поскольку он не мог бы найти себе законного попечителя иначе, как в той же фамилии Орлеанов».

Из всех этих аргументов против немедленной интервенции наибольшее значение имел, конечно, страх перед французским народом.

Считаясь с возможностью признания нового французского правительства берлинским и венским дворами, Николай заявлял, что они могут пойти на это лишь при условии получения от этого правительства «твердых гарантий» мира. Он добавлял, что в этом случае не откажется последовать примеру своих союзников, «но, жертвуя при этом своими душевными убеждениями ради спокойствия и счастья Европы, всегда будет хранить в своем сердце убеждение, что во Франции нет другого законного короля, кроме Генриха V». «Он поставит себе за честь то, что последним уступил убеждениям своих августейших союзников, и никогда не изменит своего внутреннего презрения к якобинскому поведению герцога Орлеанского».

Лицемерно заявляя о том, что он «всем сердцем разделяет желания своего августейшего тестя относительно сохранения всеобщего мира», Николай оговаривался, что мало верит в возможность сохранить его при создавшихся обстоятельствах. Следовало резкое осуждение всего того, что произошло во Франции со времени Июльской революции: «Теперешний переворот, ускоренный незаконными действиями предшествующего правительства, отмечен чисто демократической политикой; разрушительные изменения, внесенные в хартию в тот самый момент, когда происходит восстание, поднятое, якобы, в целях ее сохранения, выдержаны в том же духе; заявление герцога Орлеанского о мотивах, которые побуждают его восстанавливать так называемые национальные цвета [трехцветное знамя], его речи в палате депутатов, полное забвение палаты пэров, совершенно незаконные меры, с помощью которых хотят их принудить к полному подчинению, больше же всего само это правительство, созданное и санкционированное чернью [sic!—А. М.] и слабым меньшинством палаты, законно тогда еще не существовавшей,—все это не может успокоить нас насчет того, что за этим последует. Император, видя крайнюю податливость, с которой герцог Орлеанский уступает всем [?!—А. М.] требованиям революционной партии, убежден, что последняя будет требовать все новых и новых уступок, пока не дойдет до того, что потребует чисто республикан-



ИЮЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1830 г. В ПАРИЖЕ. БАРРИКАДА НА УЛИЦЕ ДОФИНА
 Современная литография Виктора Адама
 Музей изобразительных искусств, Москва

ских учреждений». Николай выражал опасение, что развитие событий во Франции приведет ко «всем агрессивным действиям и всем бедствиям, которые принесла первая революция».

Выражая надежду на то, что его опасения не оправдаются, русский «самодержец» заявлял, однако, что считает необходимым заблаговременно принять все меры «для оказания твердого и энергичного отпора всякому нападению, к которому может привести настоящий порядок вещей». В случае войны с Францией, русские и прусские войска должны действовать в тесном контакте, как в 1813 и 1814 гг., на основе совместно выработанного общего плана борьбы участников новой антифранцузской коалиции. 14 пехотных и 12 кавалерийских дивизий русской армии намечались для участия в предполагаемом походе против Франции; командовать ими должен был Дибич. Войска эти предполагалось привести в состояние боевой готовности и стянуть к прусской границе, как только король Фридрих-Вильгельм III объявит, что не считает больше возможным избежать войны с Францией. Для осуществления этих операций автор записки считал необходимым несколько месяцев (но не более 4—5). «Если бы, однако, — добавлял он, — вторжение французов, особенно в рейнские провинции или в Бельгию, потребовало быстрой, хотя бы и частичной помощи, а общественное мнение признало бы желательность русского сотрудничества, если бы, поитом, время года позволило это, император готов перевезти морем в указанное е. в. королем место 2-ю дивизию русской гвардии с ее артиллерией».

Заканчивалась записка Дибича следующими словами: «Император, ожидая призыва е. в. короля для отправки своих войск, рассчитывает, отдав необходимые приказания, поспешить в Берлин, чтобы лично переговорить со своим августейшим тестем, а затем, рядом с ним, сражаться против врагов общего спокойствия»⁸⁶.

«Россия ждет ваших приказаний, государь!»—воскликнул Николай I в собственноручном письме на имя короля Фридриха-Вильгельма III, извещая его о миссии Дибича⁸⁷. 8 сентября русский фельдмаршал прибыл в Берлин и был тотчас же принят королем. Последний, находясь под свежим впечатлением полученных им только-что известий о восстании против голландского правительства в Брюсселе (25 августа), заявил, что полностью разделяет взгляды императора Николая и, подобно ему, считает войну с Францией в конечном счете неизбежной. Но, добавляя Фридрих-Вильгельм, он не хочет быть нападающей стороной и решил следовать тактике Александра I перед войной 1812 г. К тому же Англия уже признала новое французское правительство⁸⁸, то же собирается сделать Австрия, так же должен будет поступить поэтому и он, король Пруссии. Действительно, прибытие Дибича не помешало Фридриху-Вильгельму признать через два дня—притом без тех гарантий, которые считал необходимыми Николай,—Луи-Филиппа «королем французов».

Известно, что этот акт был в ы н у ж д е н н ы м (как позицией Англии, так и сильным революционным брожением в Германии и Италии). Остается добавить, что признание Луи-Филиппа не помешало берлинскому правительству приступить к рассмотрению военных планов, привезенных русским фельдмаршалом. Дело это поручено было начальнику главного штаба, генералу фон Краузенеку, и адъютанту короля, генералу фон Вицлебену, которые и занялись, совместно с Дибичем, обсуждением военных мероприятий на случай войны с Францией. Принц Вильгельм уже назначался главнокомандующим рейнской армией, которая должна была действовать против Франции.

Между тем, 31 августа в Петербург прибыл чрезвычайный посол «короля французов», генерал барон Атален, привезший Николаю собственноручное письмо Луи-Филиппа, в котором он извещал русского императора о своем вступлении на престол, состоявшемся 9 августа. Письмо это, составленное почти слово в слово в тех же выражениях, что и письма, адресованные тогда же Луи-Филиппом австрийскому императору и прусскому королю, излагало события, приведшие к Июльской революции, которую новый французский монарх называл «катастрофой». Стремясь защитить себя от обвинений в узурпации власти, он старался представить свое поведение, как единственно возможное при создавшихся обстоятельствах, и утверждал, что никогда не был противником старой династии, хотя и осуждал враждебную хартии политику, усвоенную Карлом X, особенно со времени образования министерства Полиньяка. «Я видел, как его состав был подозрителен и ненавистен нации и, вместе со всей Францией, опасался мероприятий, которых от него следовало ожидать». Луи-Филипп утверждал, что борьба против этого министерства никогда не переросла бы в революцию, «если бы само министерство в своем безумии не дало рокового сигнала к ней столь неосторожным и дерзким нарушением хартии и уничтожением всех гарантий наших свобод, за которые каждый француз готов пролить свою кровь». «Никаких эксцессов при этой ужасной борьбе не было, но трудно было допустить, чтобы из этого не возникло какое-либо

потрясение нашего социального строя и чтобы самая экзальтация умов, которая отвлекла их от совершения беспорядков, не вылилась в попытку применения таких политических теорий, которые ввергли бы Францию, а может быть, и всю Европу в пучину страшных бедствий».

Обрисовав в преувеличенном виде опасности, угрожавшие монархическому строю на другой день после Июльской революции, Луи-Филипп выставлял себя спасителем «порядка» во Франции. «При таком положении, — писал он, — взоры всех обратились на меня. Сами побежденные считали меня необходимым для своего спасения. Еще более, пожалуй, я был нужен для того, чтобы победители не дали выродиться своей победе. Вот почему я взял на себя эту благородную, хотя и трудную задачу и устранил все личные обстоятельства, побуждавшие меня отказать от ее выполнения, устранил потому, что малейшее колебание с моей стороны могло подорвать будущность Франции и спокойствие всех наших соседей, которое нам необходимо охранять». Указав на то, что титул наместника королевства, как временный, не мог обеспечить ему «необходимого доверия» населения и помочь ему отстоять существующую хартию от возможных покушений слева, Луи-Филипп добавлял, что «для достижения этой благой цели» необходимо, чтобы Европа получила «правильное представление» о парижских событиях и, воздав должное мотивам, которые им руководили, оказала новому французскому правительству доверие, «на которое оно вправе рассчитывать». «Пусть в. в., — заканчивал он, — не изволит упускать из виду, что, пока король Карл X правил Францией, я был самым послушным и самым верным из его подданных и что лишь с того момента, когда я увидел, что действие законов парализовано и королевская власть как бы совершенно уничтожена, я счел своим долгом подчиниться желаниям нации и принять корону, к которой был призван».

Стремясь выгородить себя в глазах царя, Луи-Филипп особо подчеркивал свою привязанность к хартии и то значение, которое придавал ей, по его словам, Александр I. «На вас, государь, — заканчивал он, — Франция особенно обращает свои взоры. Ей отрадно видеть в России свою самую естественную и самую могущественную союзницу. Ручательством в том служат мне благородный характер и все качества, отличающие в. и. в.»³⁹.

Несмотря на все унижительные и льстивые выражения, которые в изобилии расточал в этом письме Луи-Филипп, посланец его встретил при русском дворе весьма холодный прием. На аудиенции, данной генералу Аталену 6 сентября, Николай открыто оплакивал падение Карла X, говорил, что не может пока дать никакого ответа новому королю, так как связан определенными «обязательствами» и «обещаниями», выражал сомнение в прочности нового режима во Франции и высказывал опасение по поводу деятельности в ней республиканской партии. Атален уверял царя, что республиканцы уже не опасны, что их вожди признали Луи-Филиппа «лучшей из республик». Николай отвечал, что любит Францию и уважает характер ее нового короля, но добавлял, что принцип легитимизма для него дороже всего. «Повторяю, что один я ничего не могу сделать», — говорил он. «Интервенции не будет, дело должно уладиться... но я должен еще раз сказать, что я хотел, чтобы принцип остался незатронутым... Этот принцип имеет для нас слишком большое значение, особенно для меня и моего государства»⁴⁰.

Уклончивые ответы Николая уполномоченному французского правительства свидетельствовали о том, что русский «самодержец» продолжал

упорствовать в своем нежелании признать «узурпатора». Австрийский посол, граф Фикельмонт, всячески поддерживал царя в этом упорстве. Но, в конце концов, пришлось уступить и Николаю. 28/16 сентября он писал Константину: «Известия из Вены, полученные вчера, сообщают, что признание герцога Орлеанского состоялось там, так же как в Лондоне и в Берлине; что мне остается делать? Если бы я следовал только внушениям своего сердца и своим личным чувствам, я никогда бы не решился на это признание, к которому я питаю отвращение и которое кажется мне несмываемым пятном... Это решение есть горькая пилюля, которую я вынужден проглотить»⁴¹. «Я согласен с вашими соображениями, — писал Николай в резолюции по докладу своего министра иностранных дел графа Нессельроде от 16/28 сентября, высказывавшегося за признание Луи-Филиппа, — но призываю небо в свидетели, что это есть и всегда будет противно моей совести и что это одно из самых тяжелых усилий, которые я когда-либо делал над собой»⁴².

В ответном письме, от 3 октября (21 сентября ст. ст.), — оно пришло уже после состоявшегося признания Луи-Филиппа, — Константин всячески убеждал своего брата в совершенной необходимости признания нового французского правительства и в полной невозможности всякой другой политики в этом вопросе. Он указывал Николаю на то, что он не должен отделять своих интересов от интересов своих союзников, в особенности Пруссии, географическое положение которой обязывает ее избегать войны с Францией. Он утверждал, что сорок лет назад, когда во Франции началась революция, она внушала, якобы, в Европе «отвращение всякому мыслящему существу и всем классам общества, как высшим, так и низшим», но что «с тех пор положение сильно изменилось». «Я уверен, — писал великий князь, — что в то время на сто—двести человек нашелся бы едва один, кто осмелился бы раскрыть рот, чтобы восхвалять ее и оказаться, таким образом, виновным по отношению ко всему обществу, тогда как теперь на сто здравомыслящих человек приходится, вероятно, двадцать пять, стоящих за революцию». «Когда происходила первая вызванная революцией война, — продолжал он, — все делалось с энтузиазмом, порожденным чувством долга и ужасом, который она [революция] внушала; все [господствующие классы, конечно. — А. М.] хотели сохранить свое социальное положение и были спокойны за свой тыл. При второй войне, если она случится, пойдут по чувству долга и, в большинстве случаев, неохотно. Новые идеи настолько укоренились во всех головах и вообще пустили слишком глубокие корни среди большинства людей нового поколения, чтобы можно было предполагать обратное. Сверх того, в прошлом было нарушено столько интересов [добавим: венским конгрессом и его решениями. — А. М.], было дано и не выполнено столько обещаний [добавим: европейскими монархами. — А. М.], чтобы можно было рассчитывать на единодушное содействие всех правому делу [читай: интервенции. — А. М.]». В виде примера того, как ненадежны стали подданные западно-европейских государств, великий князь ссылался на то, что даже представители «самых крупных и видных фамилий» немецкого дворянства исповедуют нередко «ярко выраженные принципы якобинизма». Объяснял он это тем, что многие владетельные дома прирейнских областей Германии, принимавшие такое деятельное участие в войнах с революционной Францией, оказались затем принесенными в жертву и «из суверенных государей превратились в подданных великих держав». Далее Константин указывал на то,

что те самые государства, как, например, Пруссия, которые видели во Французской революции «какую-то чуму» и сражались против нее, принуждены были потом примириться «с республикой, затем с консульством, потом с империей», т. е. с правительствами «неправовыми», вышедшими из революции. Самая борьба с Наполеоном, напоминал он, велась под лозунгом борьбы «против тирании», и в борьбу эту вовлечены были народные массы, т. е. она велась «теми же либеральными средствами», которые сокрушили затем «трон Реставрации».

«За последние пятнадцать лет,—с горечью констатирует брат «самодержца всероссийского»,—либерализм или якобинизм, которые для меня являются синонимами, сделали неслыханные успехи... Разве в 1812, 1813, 1814 и 1815 гг. у нас сочли бы возможным, чтобы у нас могло вспыхнуть возмущение, притом в Петербурге? Но поскольку такой факт случился, разве он не может повториться, особенно, если какая-нибудь отдаленная война приведет к удалению войск из страны и мы будем нападающей стороной?». Но война с Францией чревата, по мнению великого князя, еще и другими опасностями. «При одном только слове—война, при одном только упоминании о возвращении рейнских границ Бельгии партийные распри во Франции прекращаются, Франция становится единой и сражается за распространение своих разрушительных принципов вовне...». Оставленная же в покое, Франция, по словам варшавского наместника, «будет неизбежно ввергнута в гражданскую войну». «Они [французы] сами разорвут себя на части, и из беспорядка родится порядок [читай: контрреволюция.—А. М.] скорее, чем этого можно было бы ожидать». «Если даже,—заключает Константин,—Франция будет иметь глупость захотеть начать внешнюю войну, у нас будет в руках аргумент для своих [подданных.—А. М.], что нападение пришло с их стороны, несмотря на наше признание, обусловленное их обещанием остаться в пределах своей территории... Наш покойный незабвенный император, в своем манифесте по поводу войны 1812 г., говорил в заключение: на начинающего бог, и факты подтвердили это, как известно... Ради бога, без поспешности, больше спокойствия и хладнокровия»⁴³.

Трезвая оценка действительности,—в основе ее лежал, конечно, страх,—делала наместника Царства польского решительным противником интервенционистской войны против Франции. На той же точке зрения стоял, как мы уже знаем, министр иностранных дел. В письме к австрийскому канцлеру, князю Меттерниху, от 5 сентября 1830 г. Нессельроде следующим образом мотивировал необходимость признания нового французского правительства и невмешательства во внутренние дела этой страны: «Англия и Пруссия уже признали его. Мы оказались бы разъединенными перед революционной партией, а это было бы, без сомнения, наихудшим из зол. Зло, уже содеянное, непоправимо, постараемся помешать его росту, этим и должны ограничиться все наши усилия. Ст а р а я Европа не существует вот уже сорок лет. Будем брать ее такую, какая она есть, и постараемся сохранить ее. Если она не станет хуже, это уже будет огромным достижением, ибо желать сделать ее лучше—значило бы стремиться к невозможному. Карл X погубил себя потому, что не понял этой истины...»⁴⁴.

1 октября (19 сентября ст. ст.) Нессельроде мог известить генерала Аталена о признании Россией нового французского короля⁴⁵. Но, чтобы подчеркнуть свое более чем сдержанное отношение к Луи-Филиппу, Ни-

колай I отказался дать его посланцу новую (вторую) аудиенцию и ограничился тем, что прислал ему свой портрет. В письме, в котором царь извещал короля французов о своем признании его, он отказывал ему в общепринятом между монархами обращении «брат мой» и называл его просто «государь». Это нарушение этикета произвело весьма тягостное впечатление в Париже. Вот текст этого письма, надолго определившего взаимоотношения России и Франции:

Государь, я получил из рук генерала Аталена привезенное им послание. События, навеки прискорбные, поставили в. в. в тягостное положение. В. в. приняли решение, которое одно, казалось вам, могло отвратить от Франции большие бедствия. Я ничего не скажу о мотивах, внушивших образ действия, усвоенный в данном случае в. в., но я воссылаю горячие мольбы божественному провидению, дабы оно благословило намерения в. в. и усилия ваши на благо французского народа. В согласии с моими союзниками я с удовольствием принимаю выражение желания в. в. поддерживать со всеми европейскими государствами мирные и дружественные отношения. До тех пор, пока эти отношения будут основаны на существующих договорах и на твердой решимости поддерживать права и обязательства, торжественно в них признанные, равно как и территориальные владения, Европа будет видеть в этих отношениях гарантию мира, столь необходимого и для спокойствия Франции.

Призванный совместно с моими союзниками поддерживать с Францией при новом ее правительстве эти охранительные отношения, я, со своей стороны, не только не премину отнестись к ним с надлежащей заботливостью, но и не устану проявлять чувства, в искренности которых мне приятно уверить в. в. в ответ на чувства, выраженные вами⁴⁶.

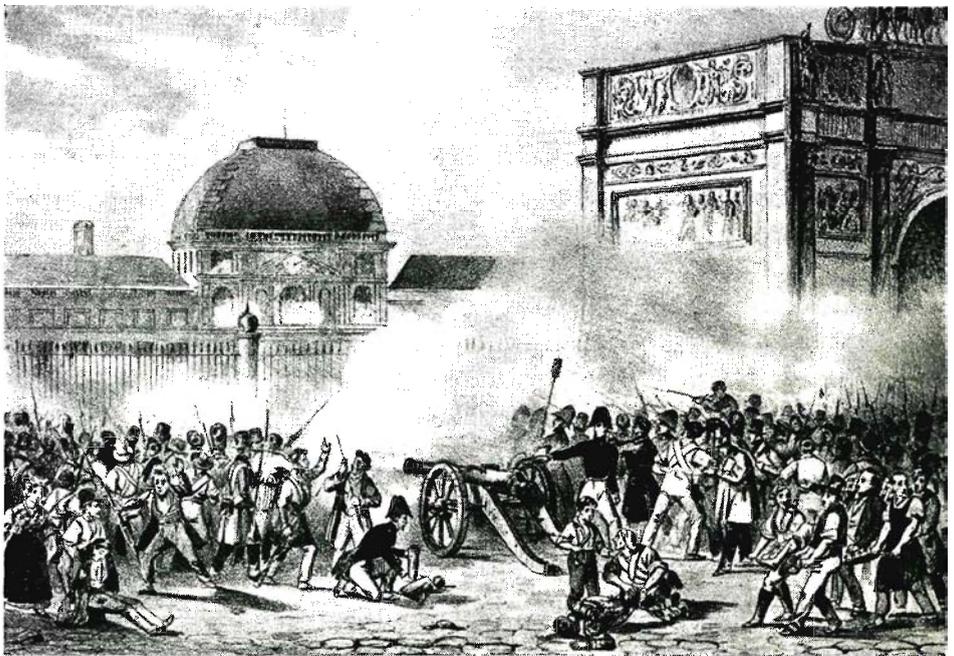
Лицемерные фразы об «искренности» симпатий царя к Франции, о его «заботах» о благе французского народа не могли прикрыть того факта, что признание Луи-Филиппа Николаем I носило временный, условный характер и поставлено было в прямую зависимость от соблюдения новым французским правительством реакционных венских трактатов 1815 г., этой внешнеполитической основы Священного союза. Мало того: в другом, строго конфиденциальном, не предназначавшемся для опубликования письме к Луи-Филиппу Николай заявлял, что Европа ждет от короля французов не только гарантии внешнего мира, но и гарантии внутреннего порядка. Но то и другое может быть обеспечено, по мнению русского императора, лишь при условии «упрочения во Франции консервативного правительства», которое должно «остановить поток, угрожающий разлиться во все стороны»⁴⁷. Что речь шла о «революционном потоке» — это явствует и из письма Нессельроде к Поццо ди Борго.

Борьба с демократией внутри Франции и отказ от помощи освободительным движениям в других странах — таковы были условия, на которых «самодержец всероссийский» соглашался поддерживать «дружественные» отношения с «королем баррикад». Идя на признание Луи-Филиппа, Николай не отказывался, однако, от планов войны с Францией. Бельгийская революция августа — сентября 1830 г. дала новый толчок этим планам и придала им новую форму.

IV

Правительство Луи-Филиппа, верное провозглашенному им «принципу невмешательства» во внутренние дела других стран, осталось совершенно

чуждо бельгийской революции 1830 г., но не могло помешать французским демократам (в частности, членам республиканского «Общества друзей народа») лететь на помощь бельгийцам, не могло помешать и агитации части французской либерально-буржуазной печати за присоединение Бельгии к Франции. В глазах европейских монархов, членов Священного союза, оно оказывалось ответственным за бельгийские события. Военная тревога, нависшая над Европой после Июльской революции и несколько ослабевшая после признания Луи-Филиппа Англией, Австрией, Пруссией, теперь снова усилилась. В правящих кругах России снова стало раздаваться бряцание оружием, снова стали слышаться угрозы по адресу Франции. «Король голландский—друг России, он находится под защитой трактатов, и это может повести к войне»,—писала 6 сентября 1830 г. княгиня Ливен вождю английской либеральной оппозиции, Грею. «Царь любит принца Оранского [сына голландского короля.— А. М.], как брата [он был женат на сестре Николая I, великой княгине Анне Павловне.— А. М.]»,—добавляла она. Раздражение жены русского дипломата не знает границ. «Что мне за дело до этих негодяев—бельгийцев и до этих прирейнских провинций, которые вместо того, чтобы обожать своего короля, который относится к ним, как отец, обращают свои взоры к Франции,—с возмущением восклицает она.—И эти венгерцы, помышляющие о том, чтобы отложиться! И эти итальянцы, которые волнуются! Даже в самой Вене проявляется нечто вроде общественного мнения; разве все это может быть терпимо? А всему виною Франция!»⁴⁸. Напрасно лорд Грей утверждал, что против образа действий французского правительства нельзя ничего сказать. «Это все одно лицемерие»,—возражала Ливен.



ИЮЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1830 г. В ПАРИЖЕ. ШТУРМ ТЮИЛЬРИ

Современная литография неизвестного художника

Музей изобразительных искусств, Москва

3 октября (21 сентября ст. ст.) Дибич, все еще находившийся в Берлине, отправил в Петербург большой доклад по вопросу о военных мероприятиях на случай европейской войны, которую он считал почти неизбежной. Делая правительство Луи-Филиппа ответственным за бельгийскую революцию и подозревая его в намерении присоединить Бельгию к Франции, русский фельдмаршал рекомендовал, в качестве предупредительной меры против французского вмешательства, занятие бельгийских крепостей частью прусскими, частью английскими войсками. Но Пруссия выступит, по мнению Дибича, лишь в том случае, если ей будет обеспечена поддержка России. Только присутствие русских войск сможет, по словам Дибича, сдержать «махинации агитаторов» (т. е. революционеров), которые не замедлят поднять голову в Германии после ухода прусских войск по ту сторону Рейна. Дибич излагал составленный им и одобренный прусским военным командованием план движения русских войск (в составе гвардии, армии Царства польского и пяти армейских корпусов) в Германию, до реки Одера, «откуда, если бы потребовали обстоятельства, они могли бы продолжить свой путь к Рейну и далее». «Дальнейшее продвижение войск за Рейн будет зависеть от хода событий и от того, как сложатся тогда обстоятельства, — писал фельдмаршал. — Первая наметка плана, который мы набросали здесь, такова: большая часть прусских войск при поддержке одного или двух корпусов нашей армии вступит в Бельгию и во Фландрию, в то время как основная масса наших войск, подкрепленная тремя прусскими корпусами, направится через Шампань к французской столице. На юге, в районе Верхнего Рейна, австрийцы с тремя корпусами Германского союза опрокинут сперва слабый натиск со стороны Эльзаса, а затем двинутся в центр Франции...»⁴⁹.

Таков был план военной интервенции в Бельгию и во Францию, который выработан был в Берлине в сентябре—октябре 1830 г. при руководящем участии русского уполномоченного. План этот предусматривал совместные действия вооруженных сил трех крупнейших военных монархий Европы—России, Австрии и Пруссии, поддержанных войсками Германского союза.

Николай I, вполне разделяя планы Дибича, поспешил начать подготовку к их осуществлению. 5/17 октября он писал своему военному министру, графу А. И. Чернышеву: «Депеши, только-что полученные мною, таковы, что надо принять безотлагательные меры для нашего выступления в поход. Король нидерландский пишет мне, прося, на основании существующих трактатов, о вооруженной помощи. Нетерпение Вильгельма так велико, что он просит меня послать часть войск, если это возможно, морем. Вы сами понимаете, что это дело неосуществимое в настоящее время года. Если бы эта запоздалая просьба пришла месяцем раньше, то все меры были бы приняты для ее удовлетворения. Теперь же речь идет о следующем: вы уведомите фельдмаршала Сакена, что 1-й и 2-й корпуса, а также 3-й и 5-й резервные кавалерийские корпуса должны быть приведены в состояние военной готовности. Вы знаете уже..., что 5-му резервному кавалерийскому корпусу дано приказание двинуться в Вольнскую губернию, чтобы приблизиться к границе. Завтра я посылаю при-

казание 3-му резервному кавалерийскому корпусу (уже переведенному на военное положение) идти в Подолию и расположиться там. 3-й пехотной дивизии дано приказание сосредоточиться в Вильне. Вот чем ограничиваются меры, уже принятые». Чернышеву предлагалось дополнить их срочной закупкой лошадей для нужд артиллерии, переводом частей 4-й дивизии в Ригу и в Динабург, концентрацией 1-й дивизии близ прусской границы, возвращением на службу всех отпускных в корпусах, предназначенных для участия в походе, и т. п. мероприятиями. «По моим расчетам, ранее, чем через два месяца, мы не в состоянии будем выступить, по крайней мере, со всеми силами», — писал Николай и добавлял: «Остается знать, не послужит ли одно известие обо всех этих обширных приготовлениях, о которых вы, не делая из них тайны, можете говорить громко, хотя и без аффектации, — к тому, чтобы предотвратить войну, которой все мы искренно желали бы избегнуть». Последние слова плохо вязались со всем тоном письма, заканчивавшегося следующей припиской: «Ускорьте движение казаков»⁵⁰.

«Наши военные приготовления идут хорошо», — писал Николай 13 ноября Дибичу, сообщая ему, что к 22 декабря русская армия сможет выступить в поход, чтобы проучить «якобинцев всех стран». «Я вполне доволен настроением наших офицеров: все они готовы к походу и в восторге от него», — добавлял император. Столь же воинственно был настроен Чернышев. В письме к Дибичу от 21 ноября военный министр горько жаловался на «людей, ослепленных настолько, чтобы верить в возможность предотвратить грозу конференциями и переговорами». «В настоящем деле речь идет о нашем существовании, о борьбе не на жизнь, а на смерть между законными правительствами и демагогией, — горячился Чернышев. — Пора противопоставить железный барьер этому ужасному потоку [революции. — А. М.], который через год, а может быть, и через несколько месяцев затопит добрую половину Европы; где найти тогда средства сопротивления?». «Если бы лондонский, берлинский и венский кабинеты поступили в свое время так, как наш обожаемый государь, — с сожалением замечает Чернышев, — зло уже давно было бы вырвано с корнем»⁵¹.

Министр финансов и министр иностранных дел не разделяли воинственных настроений военных кругов и самого императора. 22 октября (н. ст.) Нессельроде писал Дибичу, что, поскольку Англия противится вооруженному выступлению против Бельгии, Пруссия не может послать туда более 25 тысяч солдат, а русская помощь подоспеет лишь через несколько месяцев, военная интервенция в бельгийские дела становится невозможной. Невозможность ее вице-канцлер обосновывал и ссылками на тяжелое внутреннее положение империи: «В очень многих губерниях, — писал он, — свирепствует холера, их пришлось поэтому освободить от рекрутского набора; внутренняя торговля остановилась в результате мер, которые пришлось принять, чтобы помешать распространению этого бича... Урожай был плох, и налоги поступают слабо. И при таких-то предзнаменованиях мы приступаем к приготовлениям к войне, последствия которой может предсказать один лишь бог». «Не надо, конечно, — заключает Нессельроде, — унывать и падать духом перед обстоятельствами, но мне казалось необходимым изобразить вам печальную картину нашего внутреннего

положения, дабы вы могли руководствоваться ею во всех планах, которые вы будете разрабатывать с прусским кабинетом»⁵².

Это письмо было настоящим ушатом холодной воды для вояки Дибича, который, по ироническому замечанию одного из его берлинских собеседников, генерал-адъютанта графа Ностица, «держался крайне воинственно» и «с большой самоуверенностью говорил о прогулке в Париж и т. п.»⁵³.

Еще более охлаждающим образом должно было подействовать на фельдмаршала другое письмо министра иностранных дел, от 9/21 ноября. «Я провел утро,—сообщает Нессельроде,—на очень печальном заседании, на котором Канкрин [министр финансов] развернул перед нами картину нашей финансовой нужды. Не разделяя полностью его мнения насчет нашей не состоятельности, я должен, однако, согласиться с тем, что источники займов и некоторых других чрезвычайных мер совершенно иссякли. Без субсидий от Англии я не знаю, где мы найдем средства на войну, продолжительность которой никто предсказать не может»⁵⁴.

О том, каких больших расходов потребовала бы война, можно судить по тому, что один только перевод на военное положение частей, выделенных для участия в ней, должен был обойтись в 10 822 294 руб. И все же Дибич не сдавался. «Если наши финансы не позволяют нам защищать спокойствие Европы, то они еще гораздо меньше позволят нам выдержать борьбу, когда эта самая Европа станет освобождать Польшу»,—отвечал он 30 ноября Нессельроде. «Сама война дает средства для ее ведения, особенно, если вести ее как следует, т. е. вперед и ура!»—доказывал фельдмаршал, с «великолепным» презрением «дворянина старого рода» (так он именуется сам) и истого солдафона николаевской России отзываясь о «злополучном денежном двигателе», который «жиды и атеисты» хотят, по его словам, «сделать основой будущих порядков в Европе»⁵⁵.

Но как ни упорствовал Дибич, он не добился ничего: даже Чернышев должен был признать внутреннее положение империи весьма тяжелым. «Теперешнее состояние России не может не внушать беспокойства,—доносил своему правительству английский посол:—Вся территория между Тифлисом, Астраханью, Оренбургом и Москвою опустошена эпидемией, которая распространится, может быть, скоро на всю империю. Все сообщения и всякая торговля прерваны, никакое рекрутское дело в армии невозможно... Россия должна рассматриваться в настоящий момент, как совершенно непригодная к бою. Сомневаюсь, чтобы даже в том случае, если бы армии удалось избежать заразы, общественное мнение, обычно инертное в этой стране, позволило России ввязаться во внешнюю войну, в то время как эпидемия производит такие опустошения в ней»⁵⁶.

Несмотря на такое плачевное состояние страны, Николай I продолжал готовиться к войне. Не соображения внутреннего порядка, а обстоятельства внешнего характера сорвали подготовлявшееся в Петербурге вооруженное выступление против бельгийской революции. Оказалось, что из всех великих держав одна только Россия готова выступить в роли интервента. Наметившееся после Июльской революции сближение между Англией и Францией⁵⁷ и сочувственное отношение английского общественного мнения к освободительной борьбе бельгийского народа принудили герцога Веллингтона занять позицию враждебную планам интервенции против Бельгии и предложить другим державам созыв конференции для урегу-

лирования бельгийских дел. Кабинет вига Грея, пришедший вскоре (16 ноября 1830 г.) на смену торийскому кабинету Веллингтона, еще более решительно выступил против всякой помощи голландскому королю.

Антиинтервенционистская позиция Англии оказала сдерживающее влияние на поведение других европейских держав. Еще большее влияние оказало на них заявление французского правительства, что оно не допустит чьей-либо интервенции против Бельгии. «На каждого пруссака, который поставит свою ногу в Бельгию, в нее тотчас же войдет десять французов... Себастиани [французский министр иностранных дел] сам сядет на коня и поведет французские батальоны к нам на помощь», — уверенно сообщал в Брюссель 1 декабря уполномоченный бельгийского временного правительства, Рожье⁵⁸. «Франция не допустит, чтобы принцип невмешательства был нарушен, — говорил в тот же день в палате депутатов председатель совета министров Лафит. — Она постарается, вместе с тем, помешать и нарушению мира... Если же война станет неизбежной, то пусть всему миру будет доказано, что мы ее не хотели и что мы ее ведем только потому, что нас поставили перед необходимостью выбирать между войной и отказом от наших принципов... Мы будем продолжать переговоры, мы будем вооружаться. В самом скором времени мы будем иметь, помимо крепостей, снабженных провиантом и средствами обороны, пятьсот тысяч солдат, готовых к бою, хорошо вооруженных, хорошо организованных, хорошо руководимых. Миллион национальных гвардейцев поддержит их, и король, если это потребуется, станет во главе нации. Мы выступим вперед сомкнутыми рядами, сильные нашей правотой и нашими принципами. Если при виде наших трехцветных знамен разразятся бури и придут нам на помощь, тем хуже для тех, кто их вызовет». Пригрозив, таким образом, реакционным правительствам Европы перспективой революционных выступлений за пределами Франции в случае, если последняя будет втянута в войну с новой коалицией, Лафит закончил указанием, что англо-французский альянс есть лучшая гарантия мира⁵⁹.

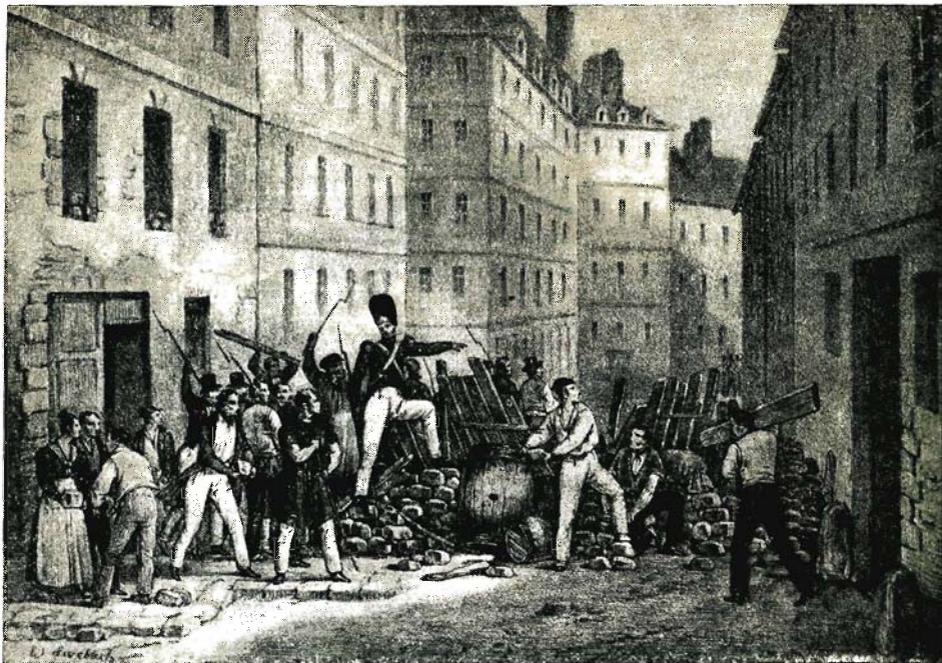
Речь Лафита отнюдь не означала, что правительство короля-буржуа намерено оказать поддержку освободительным движениям в других странах, как того требовала французская демократия. «Мы хотели, — разъяснял 2 декабря Себастиани в письме к Талейрану смысл лозунга невмешательства, — противопоставить его противоположному принципу, санкционированному Священным союзом, но, как и всякий другой принцип, он имеет свои границы. Мы не хотели, понятно, поощрять народы к тому, чтобы они свергали правительства в расчете на поддержку нашего оружия... Мы не могли бы стремиться к тому, чтобы помешать какому-нибудь государю силою оружия подавить часть своих владений, которая сбросила бы его власть... Но в бельгийских делах речь идет о нашей собственной безопасности; мы не можем допустить, чтобы туда вступили войска какой-либо иностранной державы»⁶⁰.

С того момента, как прусское правительство убедилось в том, что интервенция против Бельгии приведет его к войне с Францией и что Англия поддерживает последнюю, оно отказалось от всякой помощи голландскому королю. Со своей стороны, австрийский император, ссылаясь на «географическое положение» своей монархии, отвечал, что может оказать ему только моральную поддержку. Слабость австрийской армии и необходимость

держатъ сильные гарнизоны в Верхней Италии, где национально-освободительное движение получило после Июльской революции новый импульс, исключали всякое участие монархии Габсбургов в войне против Бельгии и, стало быть, Франции. Но, отказываясь осенью 1830 г. от поддержки короля Нидерландов, венское правительство отнюдь не отказывалось в принципе от интервенционистской политики. «Император никогда не признает принципа невмешательства перед лицом активной революционной пропаганды»,—писал Меттерних 21 октября дипломатическому представителю Австрии в Лондоне, князю Эстергази: «Е. и. в. признает за собой не только право, но и обязанность оказывать всем законным властям, подвергшимся нападению общего врага, все виды помощи, которые допустят обстоятельства»⁶¹. Ратуя за всемерное укрепление Священного союза, этого «единственного,—по его словам,—якоря спасения, который еще остается у Европы»⁶², высказываясь за тесный союз «трех великих континентальных держав», за объединение «их военных сил» и скорейшее приведение их «в состояние быстрой готовности», австрийский канцлер оговаривался, что этот союз, при наличии стольких угрожаемых пунктов, не должен ввязываться в такое безнадежное дело, как вмешательство в бельгийские дела.

Такой ответ получил в Вене чрезвычайный уполномоченный русского императора, граф Орлов, перед своим отъездом из австрийской столицы, состоявшимся 9 декабря. Четыре дня спустя Меттерних в письме к австрийскому послу в Петербурге, графу Фикельмонту, переходя от бельгийской революции к характеристике положения дел в других европейских государствах и рисуя его в достаточно мрачных красках, приходил к выводу о необходимости предоставить Францию «ее собственным заблуждениям и их неизбежным следствиям» и выражал при этом уверенность в том, что «ничто из того, что существует или кажется существующим в этой несчастной стране [«несчастной», конечно, со времени Июльской революции!—А. М.], не удержится», поскольку правительство Луи-Филиппа «не опирается на прочную базу» и живет «только призрачной жизнью». «Революция,—утверждал Меттерних,—напоминает вулкан, а вулканам свойственно потухать и затем прекращать свою деятельность. Вопрос заключается в том, совершится ли это потухание в кратере, или же лава разольется по другим участкам. В том и другом случае державы должны будут занять позицию оборонительную, но крепкую, для того ли, чтобы помочь разлиту лавы к центру деятельности вулкана [т. е. к Франции.—А. М.], для того ли, чтобы помешать, насколько им удастся, ее разлиту на чужую территорию»⁶³.

Позиция, занятая в бельгийском вопросе Англией, Пруссией и Австрией, заставила смириться и Николаю I. «Так как при наилучшем желании не было никакой возможности приступить к немедленным действиям, ибо ни одна из держав, не исключая и России, сделать этого не в состоянии, то не остается ничего более, как воспользоваться зимою для организации грозной коалиции четырех держав; одна только эта комбинация может спасти Бельгию и предохранить Европу от еще больших несчастий»⁶⁴,—писал 17 ноября 1830 г. Дибичу граф Нессельроде. «Грозная коалиция» эта (Россия, Австрия, Пруссия и Голландия), однако, не состоялась: вспыхнувшее 29 ноября того же года восстание в Варшаве на целый год связало руки Николаю I, главному участнику предполагавшейся интервенции, и отвлекло его внимание как от бельгийских, так и от французских дел. «Таким



ИЮЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1830 г. В ПАРИЖЕ. СООРУЖЕНИЕ БАРРИКАД НА УЛИЦЕ СЕНТ-ОНОРЕ
Литография Эд. Свебаха, 1830 г.

Музей изобразительных искусств, Москва

образом, Польша вторично [в первый раз в 1795 г.], ценою самопожертвования, спасла европейскую революцию»⁶⁵.

Спасена была и Бельгия. 20 декабря 1830 г. конференция представителей пяти великих держав—Англии, Франции, Австрии, Пруссии и России—признала национальную независимость Бельгии, ее отделение от Нидерландов, к которым она была насильственно присоединена в 1815 г.

V

Велик был энтузиазм, пробужденный Июльской революцией среди польских националистов всех трех частей бывшего Польского государства, входивших в состав России, Австрии и Пруссии. «Известие о событиях, происходящих в настоящий момент в Париже, привело в движение Познань... Бурное ликование проявилось повсеместно при первых же слухах, распространившихся по этому поводу»,—читаем в донесении русских полицейских властей от 19 августа 1830 г.⁶⁶ Победа революции во Франции и успехи освободительной борьбы бельгийского народа окрылили и поляков. В Познани революционное брожение среди ее польского населения и подготовка восстания приняли такие размеры, что прусское правительство поспешило наводнить великое герцогство войсками, во главе которых поставлен был старый фельдмаршал Гнейзенау, победитель Наполеона при Ватерлоо. Со своей стороны, австрийское правительство направило большую армию в Галицию, где также замечалось усиление освободительного движения среди поляков.

Восстание 29 ноября 1830 г., заставившее в. к. Константина бежать из Варшавы и распространившееся затем на все Царство польское, не было

только откликом на революцию во Франции и в Бельгии, но революция в этих двух странах дала новый импульс борьбе поляков за свое национальное освобождение, ускорила взрыв их восстания против гнета царской России. «Известие об Июльской революции,—рассказывает один современный историк,—было встречено здесь [в Варшаве.—А. М.], как заря польского освобождения. Трехцветное знамя, поднятое над домом французского консульства, знамя, цвета которого Польша так долго считала своими, казалось сигналом ее пробуждения к независимости. Концентрация русской армии, слух, что она должна пройти через Польшу, чтобы вступить в пределы Германии, и что корпус русской армии займет Царство, в то время как польские войска будут брошены в войну с Францией, усилили озлобление, особенно среди молодежи военной школы»⁶⁷. Именно из этой среды и вышли руководители восстания 29 ноября.

Восстание поляков против царского правительства, этого «жандарма Европы», вызвало большой энтузиазм во Франции среди демократических слоев ее населения, а также в кругах либеральной буржуазии, требовавшей активной внешней политики, борьбы за французскую гегемонию на континенте. В Париже под главенством Лафайета, поддерживавшего личные связи со многими польскими революционерами, образовался смешанный комитет из представителей польской эмиграции и французских либералов, который занялся сбором денежных средств в пользу восставшей Польши и агитацией за оказание ей и другой, более действительной, помощи—помощи оружием. Идея вооруженной поддержки борющихся за свою национальную независимость поляков широко пропагандировалась во французской либеральной печати. Особенно горячо отстаивала ее, эту идею, газета «Насьональ». Того же требовали от правительства представители левого крыла палаты депутатов, так называемой «партии движения». В декабре 1830 г., на похоронах Бенжамена Констана, польский эмигрант Шапский произнес пламенную речь, в которой призывал всех друзей свободы во Франции поддержать поляков; ему была устроена овация. Не только из Парижа, но и из некоторых провинциальных городов Франции (Лиона, Страсбурга и др.) ряд пылких демократов отправился в восставшую Польшу и принял участие в борьбе с царскими войсками; некоторые из них нашли здесь смерть на поле битвы.

Но все надежды на вооруженное выступление французского правительства в пользу восставших поляков оказались тщетными. Напрасно обращалось к нему за помощью варшавское революционное правительство, командировавшее в Париж своего уполномоченного, генерала Княжевича. Луи-Филипп и его министры не хотели и слышать о каком бы то ни было вмешательстве в польские дела, которое могло привести к войне с Россией и вызвать против Франции новую европейскую коалицию. Верное своему принципу невмешательства, своей тактике отказа от поддержки освободительных движений за границей, озабоченное сохранением мирных отношений с петербургским двором, правительство короля-буржуа предало поляков. Пользуясь доверием последних, французский консул в Варшаве, Дюран, выдавал их планы русскому правительству. В то же время французский поверенный в делах в Петербурге, барон Бургуэн, заверял русского министра иностранных дел в том, что Франция не окажет никакой поддержки этому восстанию. Чтобы замаскировать свою предательскую политику в польском вопросе, Луи-Филипп сделал несколько робких представлений русскому послу о желательности «дружественного согла-

шения» между правительством Николая I и восставшими поляками и несколько нерешительных предложений посредничества⁶⁸. Предложения Поццо ди Борго отклонил, заявив, что вопрос о польском восстании есть вопрос не международной политики, а внутренний русский вопрос.

Тщетно обращались поляки за помощью к герцогу Мортемару, когда в конце января 1831 г. он проезжал через Варшаву, направляясь в Россию в качестве чрезвычайного посла короля французов. «Мои инструкции дают мне право выступать лишь в пользу Царства польского в том виде, в каком оно было конституировано на венском конгрессе,—отвечал Мортемар.—Если поляки захотят пойти дальше, они не смогут рассчитывать на поддержку Франции». Он добавлял, что французское правительство не намерено идти на войну с Россией, и убеждал своих польских собеседников прекратить вооруженную борьбу. Его уговоры не имели успеха. «Французская демократия возьмет в свои руки управление событиями и окажет поддержку Польше,—отвечали Мортемару польские революционеры.—Общественное мнение заставит вашего короля и ваши палаты притти к нам на помощь». И они произнесли при этом имя Лафайета, столь популярное в тот момент среди европейской демократии⁶⁹.

Но Лафайет обманул ожидания своих польских почитателей, как не оправдал он и надежд, возлагавшихся на него другими иностранными революционерами. «Новый французский король сумел завлечь старика в свои сети..., этот бывший герой свободы теперь только раб герцога Орлеанского»,—с горечью писал из Парижа польский эмигрант Радонский своим познанским друзьям⁷⁰. Но, разочаровавшись в Лафайете, он не терял надежды на французскую демократию, на ее помощь освободительной борьбе польского народа.

Эта помощь ограничилась индивидуальными усилиями. Тщетны были все попытки либеральной и демократической оппозиции добиться изменения курса внешней политики Июльской монархии. Напрасно было все красноречие генерала Ламарка, требовавшего революционной войны со Священным союзом, взывавшего о помощи полякам. «Благородная Польша устала от режима кнута,—говорил он 11 января 1831 г. в палате депутатов.—Она простирает свои руки к Франции, своему старому союзнику. Неужели мы заглушим наши привязанности, забудем наши исторические воспоминания и волны Эльстера, хранящие еще имя Понятовского? [польского генерала, маршала наполеоновской армии, утонувшего во время кампании 1813 г. в реке Эльстер.—А. М.] Она [Польша.—А. М.] воскликнула: «Свобода или смерть!». Неужели мы ответим ей: «Умри!»? Неужели Прага и Варшава увидят второго Суворова?»⁷¹.

16 сентября 1831 г. Париж узнал о падении Варшавы, взятой войсками Паскевича. «Порядок царствует в Варшаве»,—в таких словах сообщил об этом радостном для реакции событии министр иностранных дел король-буржуа, граф Себастиани, с трибуны французской Палаты депутатов. Демократический, плебейский, рабочий Париж ответил угрозами по адресу дипломатического представителя царской России, бурными антиправительственными демонстрациями, баррикадами, вооруженными схватками с полицией, продолжавшимися целых четыре дня.

Народные массы Франции и их передовой отряд, пролетарии и полупролетарии столицы, с исключительной силой продемонстрировали в эти дни свое сочувствие освободительной борьбе всех угнетенных народов и свою ненависть к их угнетателям.

VI

Энтузиазм, вызванный Июльской революцией среди прогрессивных людей всей Европы, стал скоро остывать, по мере того, как все яснее обнаруживалась половинчатость результатов этой революции, обманувшей демократические и патриотические чаяния народных масс, не давшей им политических прав и не принесшей улучшения их материального положения. Пожалуй, ярче всех это разочарование в непосредственных результатах революции 1830 г., овладевшее вскоре даже самыми восторженными из ее почитателей, выразил великий немецкий поэт Гейне. 28 декабря 1831 г., стало быть, через несколько недель после подавления рабочего восстания в Лионе, он писал из Парижа: «Луи-Филипп, который обязан короной народу и бульжникам июльских мостовых,—неблагодарный человек, отступничество которого тем более прискорбно, что с каждым днем становится все более ясно, какому грубому обману здесь поддались. Да, каждый день делаются явные шаги вспять, и подобно тому, как камни мостовой, которыми в Июльские дни пользовались, как оружием, и которые с тех пор еще лежали в некоторых местах нагроможденными в кучи, теперь снова спокойно вбивают в землю, чтобы не оставалось никаких видимых следов революции,—так и народ втаптывают, словно камни, на прежнее место и снова попирают ногами»⁷².

Этот горький вывод не лишает, однако, Гейне уверенности в том, что французский народ еще не сказал своего последнего слова. «Vive la France! Quand même!..»—оптимистически восклицает поэт⁷³.

Из русских передовых людей того времени особенно тяжело переживал разочарование в социальных последствиях Июльской революции «неистовый Виссарион»—наш великий демократический критик Белинский. В апреле 1844 г., говоря о небывалом успехе романа французского писателя Эжена Сю «Les Mystères de Paris» («Парижские тайны») и пытаясь «объяснить местные и исторические причины такого успеха», Белинский усматривал их в Июльской революции и ее результатах. Победило мещанство. Народ, сражавшийся с войсками короля Карла X и победивший их, был обманут. «Вечный работник собственника и капиталиста, пролетарий, весь в его руках, ибо тот дает ему работу и произвольно назначает за нее плату... Этой платы бедному рабочему не всегда станет на дневную пищу и на лохмотья для него самого и для его семейства, а богатый собственник с этой платы берет 99 процентов на сто... Хорошо равенство! И будто легче умирать зимою, в холодном подвале или на холодном чердаке, с женою, детьми, дрожащими от стужи, не евши уже три дня, будто легче так умирать с хартией, за которую пролито столько крови, нежели без хартии, но и без жертв, которых она требует?».

Вывод—неправильный, в духе социалистов-утопистов, но самая картина социальных контрастов и эксплуатации трудящихся, не изменившаяся и после 1830 г., нарисована правдиво и с большой силой. Более того: Белинский приходит к заключению, что будущее принадлежит не буржуазии, восторжествовавшей в 1830 г. и присвоившей себе все плоды победы над легитимной монархией, а трудовому народу. «Изображая французский народ в своем романе,—замечает он,—Эжен Сю смотрит на него, как истинный мещанин (bourgeois), смотрит на него очень просто—как на голодную, оборванную чернь, невежеством и нищетой осужденную на преступления. Он не знает ни истинных пороков, ни истинных добродетелей народа, не подозревает, что у него есть будущее, которого уже нет

у торжествующей преобладающей партии, потому что в народе есть вера, есть энтузиазм, есть сила нравственности. Эжен Сю сочувствует бедствиям народа, зачем отнимать у него благоразумную способность сострадания, тем более, что она обещала ему такие верные барыши? Но как сочувствует,—это другой вопрос. Он желал бы, чтобы народ не бедствовал и, перестав быть голодною, оборванною и, частью поневоле, преступной чернью, сделался сытою, опрятною и прилично себя ведущею чернью, а мещане, теперешние фабриканты законов во Франции, оставались бы попрежнему господами Франции, образованнейшим сословием спекулянтов»⁷⁴.

Классово-буржуазная сущность Июльской монархии и ее консервативный характер обрисованы в этих словах с большой выразительностью.

Конечно, Белинский был не единственным представителем русского и европейского радикализма того времени, отдававшим себе достаточно ясный отчет в росте значения рабочего вопроса после 1830 г., а еще более после 1831 и 1834 гг. (после двух восстаний лионских ткачей). Но из русских демократов этого периода он отметил данный факт в особенно рельефной форме. Следующий период французской и европейской истории, период революции 1848 г., должен был показать, что конфликты между трудом и капиталом, с большой силой выявившиеся уже на-завтра после июльских событий 1830 г., займут теперь главное место в классовой борьбе европейского общества.

Но оставался еще другой фронт, фронт борьбы между буржуазно-демократической Францией и полуфеодальными монархиями Европы во главе с царской Россией. «Европейская аристократия попрежнему питает глубочайшую ненависть к Франции, это—кровная вражда, которая может окончиться лишь уничтожением одной из этих сил»,—писал 16 июня 1832 г. Гейне⁷⁵. О силе этой ненависти можно судить по следующему отрывку из письма одного русского реакционера, графа А. П. Толстого, к другому—М. П. Погодину, письма, относящегося к лету 1832 г.: «Что европейцы? Духом отрицания и разрушения, и холода, и ненависти означены события во Франции. Что реформа [избирательная], никаких ни материальных, ни нравственных выгод не обещающая Англии, но грозящая смутами, переворотами, распадением, резнею»⁷⁶.

В этих словах звучала не только ненависть, но и страх. Последний не проходил. Правда, и внутренняя и внешняя политика нового французского короля с каждым днем становилась все консервативнее, но, кроме него, во Франции были те, кого европейские реакционеры именовали, по старой памяти, «якобинцами». Николай I не скрывал того страха, который они ему внушали. «Мортемар прибыл,—писал он Константину 31 января 1831 г.—Все, что он говорит, лишний раз подтверждает то, что весь вопрос во Франции сводится к следующему: кто окажется сильнее—король или якобинцы. Если—якобинцы, тогда неизбежна война, притом война не на жизнь, а на смерть»⁷⁷.

Так же рассуждал и Меттерних, которого революционные события в Европе и, в частности, в Германии в начале 30-х годов приводили в состояние тревоги близкой к панике. Памятником этой тревоги служит переписка канцлера австрийской монархии за эти годы (особенно его письма к баварскому министру князю Вреде). Указывая на рост революционного движения в разных странах, Меттерних не устает призывать к сплочению всех консервативных сил Европы против общего врага—

революции. Такие же призывы исходили в это время от царского правительства и от правительства прусской монархии.

Признав Июльскую монархию, Россия, Австрия и Пруссия не думали, однако, отказываться от планов военной интервенции против Франции, как ведущей страны европейского революционного движения того времени. В 1832 г. в Берлине, по инициативе Николая I, состоялись секретные переговоры по вопросу об организации войны против Франции, в которых приняли участие представители русского, прусского и австрийского главных штабов (царское правительство было представлено на этом совещании генералом фон Нейдгардтом).

15 октября 1833 г. уполномоченные России, Австрии и Пруссии—граф Нессельроде, граф Фикельмонт и Ансильон—подписали в Берлине секретный договор, возобновлявший основные положения договора о Священном союзе, подписанного теми же государствами 26 сентября 1815 г. Договор этот состоял из трех статей. Первая из них гласила: «Дворы австрийский, прусский и русский признают, что каждый независимый государь имеет право призывать к себе на помощь как при внутренних смутах, так и при внешней опасности, угрожающей его стране, всякого другого государя, которого он сочтет наиболее подходящим для оказания ему помощи, и что этот последний имеет право оказать эту помощь или отказать в ней, сообразно своим интересам и склонностям...». Статья вторая гласила, что «в случае, если бы потребовалось материальное содействие одного из трех дворов — австрийского, прусского и русского, и какая-нибудь держава пожелала бы воспротивиться этому силою оружия, то три двора сочли бы всякое враждебное действие, предпринятое с этой целью, как бы направленным против каждого из них» и приняли бы «самые быстрые и самые действительные меры к отпору такого нападения»⁷⁸.

Договор 15 октября 1833 г. (он получил неофициальное название мюнхенгрецкого, так как был выработан на свидании Николая I с австрийским императором Францем I в городе Мюнхенгреце) был дополнен другим, специально направленным против польского национально-освободительного движения. Новая полоса реакции, обозначившаяся в Европе с середины 30-х годов и затянувшаяся более чем на десятилетие, сделала ненужным применение этих договоров до самой революции 1848 г. (до военной интервенции царской России против венгерской революции 1848—49 гг.).

Отношения между Францией и Россией оставались, однако, после 1830 г. достаточно напряженными. Но по мере того, как правительство короля-буржуа, жестоко расправляясь с революционным движением, с республиканскими восстаниями во Франции, становилось существенной опорой европейской реакции, франко-русские отношения улучшались, и Николай I начинал постепенно более благосклонно взирать на того, кого он еще недавно готов был низвергнуть вооруженной рукой, как «узурпатора». Так складывается ситуация, о которой Маркс писал в «Коммунистическом манифесте»: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Для священной травли этого призрака объединились все силы старой Европы: папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские»⁷⁹.

Но не успел «самодержец всероссийский» насладиться зрелищем «успокоения» Франции и превращения ее в опору реакции, как новая революционная волна унесла с собой и Гизо и Луи-Филиппа, а на развалинах Июльской монархии поднялась новая французская республика.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ «Allgemeine Zeitung», Augsburg, 29 August 1830, Beilage zu № 241.
- ² Gallavresi (G.), La participation des réfugiés italiens aux journées de juillet et le principe de la non-intervention.—«Etudes sur les mouvements libéraux et nationaux de 1830», P., 1932, 32.
- ³ Fabre (A.), La Révolution de 1830 et le véritable parti républicain, P., 1833, I, 225 (из газеты «Tribune des départements», 30 septembre 1830).
- ⁴ «Kloake von Hauptstadt» («клоака, а не столица») — так называет демократический Париж прусский генерал фон Рохов в письме от 10 ноября 1830 г.
- ⁵ Никитенко А. В., Записки и дневники. 1826—1877, СПб. 1893, I, 273—274.
- ⁶ Богданович Т., Французская эмиграция, вопрос об интервенции, империя, Июльская революция в свидетельствах русского вельможи.—«Анналь», П., 1924, IV, 132.
- ⁷ Гершензон М. О., Жизнь В. С. Печерина, М., 1910, 9—10.
- ⁸ Герцен А. И., Собрание сочинений, ред. М. К. Лемке, 1920, XII, 125.
- ⁹ Дельвиг А. И., Мои воспоминания, М., 1912, I, 107.
- ¹⁰ «Полн. собр. соч. кн. П. А. Вяземского», IX, 1813—1852, СПб. 1884, 136—137.
- ¹¹
В палате Английского клона
(Народных заседаний проба),
Безмолвно в думу погружен,
О кашах пренья слышит он.
- ¹² Во французском подлиннике это место звучит так: «Et c'est au milieu de ces orang-outangs que je suis condamné à vivre au moment le plus intéressant de notre siècle».
- ¹³ «Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово. 1827—1832». — Труды Пушкинского дома, вып. XLVIII, изд. Академии наук СССР, Л., 1927, 9.
- ¹⁴ «Полн. собр. соч. кн. П. А. Вяземского», IX, 136.
- ¹⁵ Ibid., 138—139.
- ¹⁶ Лермонтов М. Ю., Полное собр. соч., «Academia», 1936, I, 146—147.
- ¹⁷ France, dis-moi leurs noms? Je n'en vois point paraître
Sur ce funèbre monument:
Ils ont vaincu si promptement
Que tu fus libre avant de les connaître.
- ¹⁸ «Уткинский сборник», ред. А. К. Грузинского, М., 1904, 105.
- ¹⁹ Татищев С. С., Император Николай и иностранные дворы, 1889, 147.
- ²⁰ «Переписка императора Николая Павловича с великим князем цесаревичем Константином Павловичем. 1830—1831». — «Сборник Имп. Рус. Ист. Общ.», СПб. 1911, СХХХII, 34. (Вся эта переписка — на французском языке).
- ²¹ Шильдер Н. К., Император Николай I, его жизнь и царствование, СПб. 1903, II, 288—289.
- ²² «Княгиня Ливен и ее переписка с разными лицами». — «Русская Старина», июнь, 1903.
- ²³ Bougoing (baron Paul de), Souvenirs d'histoire contemporaine. Episodes militaires et politiques, P., 1864, 507—518.
- ²⁴ Такого же рода заверения давали министры Полиньяк и Пейронне царскому послу в Париже, Поццо ди Борго, предостерегавшему их (и по собственному почину, и по поручению из Петербурга) против политики в духе ультрароялизма, которая могла бы привести к новой революции и к свержению Бурбонов.
- ²⁵ Т. е. Полиньяка и других членов ультрареакционного министерства 8 августа 1829 г.
- ²⁶ «Сборник Имп. Рус. Ист. Общ.», СХХХII, 35—37.
- ²⁷ Ibid., 40—41.
- ²⁸ Ibid., 42—43.
- ²⁹ Ibid., 45.
- ³⁰ Guichen (vicomte de), La Révolution de juillet 1830 et l'Europe, P. [1916], 134 (депеша Поццо ди Борго от 2/14/VIII 1830).
- ³¹ Ibid., 137 (депеша от 23/VIII (4/IX) 1830).
- ³² Ibid., 155—156 (депеша лорда Гейтсбери графу Эбердину от 20/VIII 1830).
- ³³ «Анналь», IV, 135 (Résumé d'une conversation avec l'Empereur à Tsarskoe Selo le 16 août 1830).
- ³⁴ Ibid., 132—134.
- ³⁵ Ibid., 136—137.
- ³⁶ Шильдер Н. К., Император Николай I, II, 571—574.
- ³⁷ Schiemann (Th.), Geschichte Russlands unter Kaiser Nikolaus I, B., 1913, III, 17, 30 August 1830.

- ³⁸ 30 августа 1830 г.
- ³⁹ Шильдер, *op. cit.*, II, 303 (перевод исправлен.—А. М.).
- ⁴⁰ Guichen, *op. cit.*, 158.
- ⁴¹ «Сборник Имп. Рус. Ист. Общ.», СХХХII, 49—50.
- ⁴² Schiemann, *op. cit.*, III, 420.
- ⁴³ «Сборник Имп. Рус. Ист. Общ.», СХХХII, 51—53.
- ⁴⁴ «Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode. 1760—1850», Р., 1908, VII, 152.
- ⁴⁵ Вручение русским послом (Поццо ди Борго) своих верительных грамот Луи-Филиппу состоялось 8 января 1831 г., позже всех других иностранных дипломатов.
- ⁴⁶ Шильдер, *op. cit.*, II, 468—469.
- ⁴⁷ Guichen, *op. cit.*, 161.
- ⁴⁸ «Княгиня Ливен и ее переписка с разными лицами».—«Русская Старина», 1905, 691—692.
- ⁴⁹ «Сборник Имп. Рус. Ист. Общ.», СХХII, 318—324 (разрядка моя.—А. М.).
- ⁵⁰ Шильдер, *op. cit.*, II, 574—576.
- ⁵¹ Ibid., 577 (разрядка моя.—А. М.).
- ⁵² Ibid., 469.
- ⁵³ Schiemann, *op. cit.*, 29.
- ⁵⁴ Шильдер, *op. cit.*, II, 471.
- ⁵⁵ Ibid.
- ⁵⁶ Guichen, *op. cit.*, 206 (депеша Гейтсбери Эбердину от 12/X 1830).
- ⁵⁷ Немалую роль в этом сближении сыграла напряженность англо-русских отношений, обозначившаяся в конце 1829 г. в связи с адрианопольским миром, а также намечившимся тогда сближением между Россией и Францией (в частности, во время завоевания последнею Алжира, что произошло перед самой Июльской революцией).
- ⁵⁸ Guichen, *op. cit.*, 232.
- ⁵⁹ Ibid.
- ⁶⁰ Ibid., 271—272 (разрядка моя.—А. М.).
- ⁶¹ Metternich (prince de), Mémoires, documents et écrits divers, V, 44, Р., 1875.
- ⁶² Ibid., 51.
- ⁶³ Ibid., 61.
- ⁶⁴ Шильдер, *op. cit.*, II, 490.
- ⁶⁵ Энгельс Ф., Иностранная политика русского царизма, Сочинения, XVI, ч. II, 25.
- ⁶⁶ Schiemann, *op. cit.*, 44.
- ⁶⁷ Lesur, Annuaire historique universel pour 1830, 655, Р., 1832.
- ⁶⁸ Guichen, *op. cit.*, 247.
- ⁶⁹ Guizot, Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, II, 280—281.
- ⁷⁰ Schiemann, *op. cit.*, 44.
- ⁷¹ Lesur, Annuaire historique universel pour 1830, 20.
- ⁷² Гейне Г., Собрание сочинений, VI, 29, «Academia», 1936.
- ⁷³ Ibid., 25.
- ⁷⁴ «Полное собрание сочинений В. Г. Белинского», под редакцией С. А. Венгерова. СПб. 1907, VIII, 470—474.
- ⁷⁵ Гейне Г., Собрание сочинений, VI, 138.
- ⁷⁶ Барсуков Н., Жизнь и труды М. П. Погодина, СПб. 1891, IV, 69.
- ⁷⁷ «Сборник Имп. Рус. Ист. Общ.», СХХХII, 118.
- ⁷⁸ Мартенс Ф., Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами, СПб. 1878, IV, I, 460—462.
- ⁷⁹ Маркс К. и Энгельс Ф., Сочинения, VI, 483, ИМЭЛ, 1930.